



Дюма А.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
СОРОК ПЯТЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Дюма. Собрание сочинений

Александр Дюма
Сорок пять. Часть первая

«Алгоритм»

1847

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

Дюма А.

Сорок пять. Часть первая / А. Дюма — «Алгоритм»,
1847 — (Дюма. Собрание сочинений)

ISBN 978-5-486-02145-9

Александр Дюма (1802–1870) – знаменитый французский писатель, завоевавший любовь читателей историческими приключенческими романами. Литературное наследие Дюма огромно: кроме романов им написаны пьесы, воспоминания, путевые очерки, детские сказки и другие произведения самых различных жанров. В данный том Собрания сочинений вошла первая часть романа «Сорок пять». Комментарии С. Валова.

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-02145-9

© Дюма А., 1847
© Алгоритм, 1847

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	11
III	17
IV	22
V	29
VI	34
VII	41
VIII	46
IX	52
X	56
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Александр Дюма

Сорок пять. Ч. 1

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009

© ООО «РИЦ Литература», комментарии, 2009

Часть первая

I

Ворота Сент-Антуан

Двадцать шестого октября 1585 года ворота Сент-Антуан у заставы в Париже в половине одиннадцатого утра были против обыкновения еще закрыты. В три четверти одиннадцатого из-за угла улицы Мортельери показался отряд из двадцати швейцарцев – то были преданнейшие друзья короля Генриха III¹. Отряд направился прямо к воротам, они пропустили его и опять сомкнулись. Выйдя за ворота, швейцарцы выстроились вдоль живых изгородей, тянувшихся по обеим сторонам дороги. Одного появления отряда оказалось достаточно, чтобы заставить податься назад значительную толпу, состоящую главным образом из окрестных крестьян и мещан, – они надеялись попасть в город до полудня, но обманулись в своих ожиданиях: ворота, как уже было упомянуто, оказались закрыты.

Если справедливо, что всякая толпа неминуемо и естественно приносит с собой беспорядок, – видимо, тот, кто снарядил к воротам Сент-Антуан целый отряд, имел в виду предотвратить самую возможность нарушения порядка.

Толпа образовалась в самом деле очень значительная: по трем скрещивавшимся у ворот дорогам то и дело подходили и подъезжали монахи из предместий, женщины на ослах, крестьяне на телегах, и вновь прибывшие беспрерывно ее увеличивали. Отовсюду раздавались восклицания, сыпались настойчивые расспросы, сливавшиеся в непрерывный басовый гул, из которого иногда выделялись голоса, раздражавшиеся угрозами и жалобами в более высоком регистре. Помимо этого множества приезжих, жаждавших попасть в город, у ворот можно было заметить несколько самостоятельных кружков, состоявших из лиц, вышедших, по-видимому, из города. Все они, вместо того чтобы стараться разглядеть сквозь закрытые ворота, что происходит на парижских улицах, с таким страстным вниманием и нетерпением пожирали глазами открывавшийся перед ними горизонт между монастырем яковинцев², Венсенской обителью и Робенским крестом, будто на одной из этих трех веером раскинувшихся дорог вот-вот появится посланник с небес.

Эти небольшие группы очень напоминали спокойные островки, окруженные со всех сторон бурливыми речными водами, что виднеются местами на середине Сены: волны порой отрывают от островка то клочок земли с травой, то перегнивший древесный ствол, и он, покачиваясь на волнах, уносится по течению. Группы эти – мы к ним упорно возвращаемся, ибо они заслуживают полного нашего внимания, – состояли главным образом из парижских обывателей, предусмотрительно позаботившихся одеться потеплее, так как погода (мы забыли упомянуть об этом) была холодная, дул резкий ветер, и густые, низко нависшие над землей тучи, казалось, задались целью сорвать с деревьев печально качавшиеся последние желтые листья.

Трое из горожан разговаривали между собой, или, вернее, двое разговаривали, а третий слушал. Но всего яснее мы выразим нашу мысль, если оговоримся, что он, по-видимому, даже и не слушал, – так велико было внимание, с которым он вглядывался в ведущую на Венсен дорогу. Остановимся же на нем первом и опишем его наружность.

¹ Генрих III (1551–1589) – король Франции с 1574 г.

² Яковинцы – название доминиканских монахов во Франции.

Он, вероятно, отличался высоким ростом, когда стоял выпрямившись, но в данную минуту его длинные ноги, с которыми он, казалось, не знал, что делать, когда не употреблял их по прямому назначению, были подогнуты, а руки, не уступавшие длиной ногам, сложены крест-накрест на груди. Незнакомец прислонился спиной к частой, заросшей колючим кустарником изгороди, и хотя она наполовину прикрывала его, он с упорством, весьма похожим на осторожность человека, не желающего быть узнанным, закрывал лицо широкой ладонью, оставив на свободе только один глаз, который зорко выглядывал между указательным и средним пальцами руки, раздвинутыми ровно настолько, чтобы не пропустить ничего, достойного внимания наблюдателя.

Рядом с этим странным субъектом стоял на насыпи какой-то низенький человек и беседовал с толстяком, примостившимся тут же сбоку, и, по-видимому, в очень неустойчивой позиции, так как то и дело скользил, цепляясь при этом каждый раз за пуговицу куртки своего собеседника. Эти-то двое горожан и составляли вместе с прислонившимся к изгороди незнакомцем каббалистическое число «три», отмеченное нами выше.

– Да, дружище Митон, – говорил низенький толстяку, – повторяю вам: у эшафота Сальседа соберется по меньшей мере стотысячная толпа. Если и не считать всех, кто уже находится на Гревской площади, и всех, кто еще понабежит туда из других кварталов, – взгляните на толпу у одних этих ворот... А ведь ворот-то всех шестнадцать – не забудьте этого!

– Ну, сто тысяч – это вы слишком, Фриар, – отвечал толстяк. – Многие, поверьте, последуют моему примеру и вовсе не пойдут глядеть на четвертование несчастного Сальседа из боязни беспорядков – и будут правы.

– Э, Митон, Митон, берегитесь! – перебил его низенький. – Послушаешь вас – так будто вы занимаетесь политикой. Ручаюсь – ничего не будет! Не правда ли, сударь? – продолжал он, видя, что его собеседник с сомнением качает головой, и обернувшись на этот раз к длиннорукому и длинноногому незнакомцу, – тот уже перестал смотреть в сторону Венсена, а, повернувшись в четверть оборота и отняв руку от лица, избрал теперь пунктом для наблюдения ворота и заставу.

– Что вы сказали? – Казалось, до его слуха долетели только последние обращенные к нему слова, весь же предыдущий разговор двух горожан пропал для него бесследно.

– Я говорю, сегодня на Гревской площади ничего не будет.

– Вы, по-моему, ошибаетесь: там будут четвертовать Сальседа, – спокойно возразил длинноногий незнакомец.

– Ну да, конечно. Я о другом – что при этом не будет шума...

– Нет, и шум будет: от ударов кнута по лошадям.

– Вы меня не понимаете. Под шумом я разумею народное волнение. Вот я и говорю: беспорядков никаких на Гревской площади не будет, в противном случае король не велел бы отделать ложу в городской ратуше, чтобы лично, вместе с обеими королевами и двором, присутствовать при казни.

– Да разве короли когда-нибудь осведомлены об имеющих быть беспорядках? – Длинноногий и длиннорукий незнакомец пожал плечами с выражением безграничного презрения и жалости.

– О-о! – наклонился господин Митон к уху приятеля. – Странная у этого типа манера выражаться. Вы с ним знакомы?

– Не-ет...

– Так зачем же говорите с ним?

– Просто чтобы поговорить.

– Напрасно – видите, ведь он от природы не очень-то разговорчив.

– Ну а мне все же сдается, – продолжал Фриар настолько громко, что слова его не могли не долететь до длиннорукого незнакомца, – что обмен мыслями – одно из величайших благ жизни.

– С людьми знакомыми – совершенно верно, – уточнил господин Митон. – Но не с тем, кого не знаешь.

– Все люди братья... Так учит священник из Сен-Ле, – убежденно изрек Фриар.

– Были таковыми – в дни, давно минувшие. Ну а в наши времена сии родственные узы что-то ослабли, друг Фриар. Беседуйте со мной, коли у вас такая потребность разговаривать, а этого господина оставьте в покое: вид у него такой озабоченный...

– Да, но дело-то все в том, что с вами я знаком давно и знаю заранее, какой услышу от вас ответ. А незнакомец этот, может, поведает мне что-нибудь новенькое.

– Тсс! Он вас слушает!

– Тем лучше, если слушает. Вот потому, надеюсь, и ответит. Так вы полагаете, сударь, – обратился Фриар к незнакомцу, – что на Гревской площади будет сегодня шум?

– Я о том и не заикался.

– Я и не утверждаю, что вы это сказали. – Фриар постарался придать своему тону многозначительность. – Предполагаю только, что вы так думаете.

– А на чем вы основываете такую уверенность? Уж не колдун ли вы, господин Фриар?

– Как? Он меня знает?! – в полном изумлении воскликнул Фриар. – Откуда бы это?

– Да я ведь вас несколько раз называл по фамилии, приятель. – Митон пожал плечами с видом человека, которому стыдно перед незнакомцем за умственную ограниченность собеседника.

– Ах да, правда! – согласился Фриар, делая отчаянное усилие, чтобы понять данное ему объяснение, и действительно, благодаря этому усилию смекнув наконец, в чем дело. – Ну, так если он меня знает, стало быть, ответит мне. Так вот, сударь, – обернулся он к незнакомцу, – я потому полагаю о вас, что вы так думаете – ну, что на Гревской площади будет шум, – что, не думай вы этого, вы были бы там, а вы между тем здесь.

Построив такое умозаключение, Фриар даже вздохнул тяжело от крайнего напряжения всех умственных сил и логических способностей.

– Но раз вы полагаете обо мне обратное тому, что я думаю, – незнакомец сделал особенное ударение на словах Фриара, – то почему же вы-то сами, господин Фриар, не на Гревской площади? Вот уж, мне кажется, утешительное зрелище – друзья короля должны бы прямо рваться на площадь, давя друг друга. Но вы, может быть, ответите мне, что принадлежите не к приверженцам короля, а к друзьям господина де Гиза³ и ждете здесь лотарингцев: они, по слухам, ворвутся в Париж и освободят господина де Сальседа?

– Нет, сударь! – с живостью возразил Фриар, по-видимому очень напуганный подобными предположениями незнакомца. – Нет, я жду свою жену, Николь Фриар, – она отправилась в монастырь якобинцев, при ней двадцать четыре скатерти, так как она имеет честь быть прачкой самого отца Модеста Горанфло, настоятеля монастыря. А что до беспорядков, о которых говорил мой приятель Митон и в которые я не верю, да и вы также, если судить по вашим словам...

– Эй, друг! – крикнул Митон. – Взгляните-ка, что творится!

Фриар взглянул по направлению вытянутого пальца приятеля: не довольствуясь воздвигнутой преградой в виде закрытой заставы, что и так сильно волновало умы, стали запи-

³ *Карл Гиз* (Майенский герцог, 1554–1611) – один из предводителей католиков в борьбе с гугенотами. После убийства его брата Генриха возглавил Католическую лигу, стремясь завладеть французским престолом, но, разбитый Генрихом IV, подчинился ему. Впоследствии стал губернатором провинции Иль-де-Франс и верным советником короля.

рать и сами ворота. Когда же это было исполнено, перед рвом выстроилась часть швейцарцев.

– Как, как?! – воскликнул, бледнея, Фриар. – Мало им заставы! Они еще и ворота запирают!..

– Ага! Что я вам говорил? – Митон тоже заметно побледнел.

– Забавно, правда? – Незнакомец смеялся, между усами и бородой сверкнул двойной ряд белых ровных зубов, по-видимому, превосходно отточенных благодаря привычке употреблять их в дело по крайней мере четыре раза в день.

При виде этой новой меры предосторожности в густой толпе, обложившей заставу, поднялся ропот удивления, раздались даже возгласы ужаса.

Повелительный окрик офицера: «Все назад!» заставил верховых и сидящих в повозках попятиться; отдавленные ноги и помятые ребра стали результатом этого приказа. Крики женщин, ругательства мужчин... Кто мог – пустился бежать, натываясь на тех, кто впереди, и падая.

– Лотарингцы! Лотарингцы! – крикнул кто-то среди всеобщего смятения.

Самый душераздирающий вопль, какой только может вырваться у человека в минуту смертельного ужаса, не произвел бы такого быстрого и решительного действия, как одно это слово – «лотарингцы».

– Вот, вот, видите, видите?! – закричал, весь дрожа, Митон. – Лотарингцы, лотарингцы! Бежим!

– Бежать? Но куда? – растерялся Фриар.

– Сюда, через изгородь! – Митон уже раздирал себе руки о колючий кустарник, к которому так уютно прислонился незнакомец.

– «Через изгородь!» – повторил Фриар. – Это легче сказать, чем исполнить. Я не вижу никакого прохода, а вы, надеюсь, не собираетесь перелезть через эти кусты, которые выше меня?

– Постараюсь, постараюсь, – отвечал Митон и тут же стал изо всех сил осуществлять свое намерение.

– Эй, осторожнее, голубушка! – закричал Фриар – в голосе его звучало отчаяние человека, начинающего терять голову. – Ваш осел вот-вот отдавит мне ноги! Уф, господин всадник, полегче, а то ваша лошадь меня лягает! Черт возьми, да-да, вы, на повозке! Вы мне заехали в бок оглоблями, приятель!

Между тем как господин Митон выбивался из сил, пытаясь ухватиться за изгородь и перелезть через нее, а Фриар тщетно разыскивал какую-нибудь лазейку, чтобы воспользоваться ею для той же цели, незнакомец выпрямился во весь рост, раздвинул, как два острия циркуля, свои длинные ноги и одним спокойным движением, будто собирался занести ногу в стремя, так ловко перешагнул через изгородь, что ни один сучок не зацепился за его платье.

Митон последовал его примеру, раздрав себе одежду в трех местах. А несчастный Фриар, видя полную невозможность для себя как пролезть снизу, так и перелезть через верх изгороди и сознавая, что ему все более грозит опасность быть раздавленным толпой, ограничивался тем, что испускал пронзительные вопли.

Тогда незнакомец протянул свою длинную руку, крепко ухватил Фриара за воротник и, приподняв на воздух, перенес на другую сторону изгороди с такой легкостью, будто имел дело с ребенком.

– Ого-го! – произнес Митон, восхищенный таким зрелищем и проследив глазами за подъемом и спуском на землю своего приятеля Фриара. – Вы теперь похожи на вывеску гостиницы Авессалома.

– Уф! – Фриар почувствовал наконец под ногами твердую почву. – Пусть я похож на что угодно, но зато стою по эту сторону изгороди, да благословит Бог этого господина. О

сударь! – продолжал он, приподнимаясь на цыпочки, чтобы взглянуть в лицо незнакомцу, которому он приходился много ниже плеча. – Как я вам благодарен! Вы истинный Геркулес, честное слово, слово Жана Фриара! Как ваше имя, как зовут моего спасителя, моего друга? – Добряк произнес последнее слово с горячностью, проистекавшей от избытка сердечной признательности.

– Меня зовут Брике, сударь, – отвечал незнакомец. – Робер Брике к вашим услугам.

– И вы уже оказали мне значительную услугу, господин Робер Брике, смело могу сказать. О, моя жена будет благословлять вас! Но, кстати, моя бедная жена! Боже мой, боже мой! Ее задавят в толпе! Проклятые швейцарцы – они только и годны на то, чтобы давить людей!

Фриар еще не успел договорить своего неодобрительного отзыва о швейцарцах, как почувствовал, что на плечо ему легла чья-то тяжелая, точно каменная, рука. Он обернулся, интересуясь узнать, кто этот дерзкий, позволивший себе такую вольность с ним. Рука принадлежала швейцарцу.

– Вы, верно, хотите, чтоб вас порядком поколотили, мой маленький дружок? – язвительно спросил богатырского вида солдат.

– Ах! Мы окружены со всех сторон! – закричал Фриар.

– Спасайся, кто может! – поддержал Митон.

И оба пустились бежать взапуски и вскоре оставили далеко позади изгородь и длинногого и длиннорукого незнакомца, а тот безмолвно провожал их насмешливым взглядом, пока они не скрылись из виду. Тогда он подошел к поставленному у изгороди швейцарцу.

– Что, приятель? Рука-то, кажется, у вас ничего себе?

– Да, рука как следует быть.

– Тем лучше: это очень важно, особенно если, как говорят, придут лотарингцы.

– Они не придут.

– Нет?

– Нет.

– Так почему же закрыли ворота? Не понимаю.

– Вам и не надо этого понимать. – И швейцарец, очень довольный своей остроумной шуткой, разразился раскатистым хохотом.

– Верно, совершенно верно, друг, спасибо. – Робер Брике невозмутимо передразнил немецкий акцент швейцарца и спокойно отошел, чтобы примкнуть к другой группе.

А достойный воин уже без смеха бормотал себе под нос:

– Кажется, он надо мной смеется... Черт возьми! Кто же он, что дерзает насмехаться над швейцарцем его величества?

II

Что происходило по ту сторону ворот Сент-Антуан

Внимание Робера Брике привлекла одна группа, состоявшая из значительного числа горожан, застигнутых вне городских стен врасплох неожиданным закрытием ворот. Горожане эти столпились около четырех-пяти всадников, отличавшихся весьма воинственной осанкой, которым, по-видимому, был крайне неприятен тот факт, что ворота заперты, так как они кричали изо всей силы легких:

– Откройте ворота! Ворота!

Крики эти яростно подхватывались толпой и сливались в общий адский шум и гул. Робер Брике приблизился к этой группе и принялся кричать громче всех:

– Откройте ворота! Откройте ворота!

Результат не замедлил сказаться: один из всадников, восхищенный силой его голоса, обернулся к нему и, поклонившись, заговорил:

– Ну разве не стыд, сударь, запирасть среди бела дня городские ворота, точно Париж осажден испанцами или англичанами?

Робер Брике внимательно оглядел того, кто обратился к нему: лет сорока – сорока пяти; похоже, начальник тех нескольких всадников, что стояли рядом. Вероятно, этот осмотр внушил Роберу Брике доверие к говорившему – он ответил на поклон и откликнулся:

– Ах, милостивый государь, вы правы, десять, двадцать раз правы! Но, не желая показаться вам слишком любопытным, осмелюсь ли я спросить вас, чем, по-вашему, вызвана эта мера предосторожности?

– Черт возьми! – вмешался кто-то. – Очень просто: боятся, как бы у них не скушали их Сальседа.

– Незавидное кушанье, клянусь честью! – произнес чей-то голос.

Робер Брике обернулся в ту сторону, откуда раздался этот голос, произносивший слова с резким гасконским акцентом: молодой человек лет двадцати – двадцати пяти держал руку на крупе лошади; всадник на ней показался Брике главным над остальными. Молодой человек, вероятно, потерял шляпу в свалке – голова его была не покрыта.

Брике, по-видимому, любитель производить наблюдения, но за очень короткое время, скоро отвел глаза от гасконца, вероятно сочтя его мало для себя интересным, и снова устремил взгляд на всадника, проговорив наконец:

– Но уж раз говорят, что этот Сальсед служит господину де Гизу, – не такой он невкусный кусочек.

– А-а! Разве так говорят? – подхватил с любопытством гасконец, моментально наострив уши.

– Ну да, конечно, говорят, – пожал плечами всадник. – Но мало ли какого вздора теперь не рассказывают!

– А! – Брике смотрел на него испытующим взором и насмешливо улыбался. – Так вы полагаете, что Сальсед не служил господину де Гизу?

– Не только полагаю, но совершенно уверен, – отвечал всадник и продолжал, видя, что Робер Брике сделал жест, означавший «А на чем вы основываете вашу уверенность?»: – Конечно, если бы Сальсед принадлежал герцогу, тот не допустил бы, чтоб его взяли, или, по крайней мере, не дал бы его привезти из Брюсселя в Париж скованным по рукам и ногам, не сделав ни малейшей попытки отбить и увезти его!

– «Отбить», «увезти»! – повторил Брике. – Это довольно рискованно. Ведь удайся эта попытка или нет, но раз она исходила бы от господина де Гиза, так он тем самым сознался бы, что затевает заговор против герцога Анжуйского⁴.

– Господина де Гиза, – холодно ответил всадник, – я уверен, не удержало бы такое соображение, и раз он не требовал выдачи Сальседа и сам ничего не сделал для его спасения, значит, между Сальседом и ним ничего не было общего.

– А между тем – извините, что настаиваю, но не я это выдумал, – продолжал Брике, – есть сведения, что Сальсед наконец заговорил.

– Когда? На суде?

– Нет, не на суде, а под пыткой. Да разве это не все равно? – Робер Брике тщетно пытался придать себе наивный вид.

– Нет, конечно, не все равно, далеко не все равно. Ну хорошо, заговорил, но что именно он сказал – неизвестно?..

– Извините, сударь, – заметил Робер Брике, – и это известно во всех подробностях.

– Что же, что? – не скрыл нетерпения всадник. – Сообщите нам, если вы так хорошо осведомлены.

– Не могу этим похвастаться, сам желал бы получить от вас какие-нибудь сведения.

– К делу! – перебил его всадник. – Как вы утверждаете, в городе известно, что сказал Сальсед. Что же именно?

– Не могу ручаться, что по городу ходят его собственные слова. – Робер Брике явно находил удовольствие, раззадоривая собеседника.

– Но все же – какие слова ему приписывают?

– Говорят, он сознался, что принимал участие в заговоре в пользу господина де Гиза.

– Против французского короля, конечно? Вечно та же песня!

– Нет, не против его величества короля Франции, но против его высочества монсеньора герцога Анжуйского.

– Если он сознался в этом...

– То? – подхватил Робер Брике.

– То он негодяй! – Всадник нахмурил брови.

«Да, – про себя молвил Брике. – Но если он сделал то, в чем сознался, то он хороший человек».

– Ах, сударь, чего не заставят произнести честных людей «испанский башмачок», дыба и раскаленный горшок!

– Увы! Это великая истина! – Всадник слегка вздохнул, тон его смягчился.

– Э! – прервал его гасконец, который не пропустил ни слова из этого разговора, поворачивая голову то к одному из говоривших, то к другому. – «Испанский башмачок», дыба – все это такие пустяки! И если этот Сальсед что-нибудь сказал, то он негодяй и его покровитель таков же.

– Ого! – воскликнул всадник, не в состоянии сдерживать негодования и делая порывистое движение всем корпусом. – Вы запели что-то очень громко, господин гасконец!

– Я?

– Да, вы.

– Я пою, как мне нравится, черт возьми! Тем хуже для тех, кому мое пение не по нраву. Всадник сделал грозный жест.

– Спокойнее! – произнес чей-то нежный и вместе повелительный голос.

⁴ Герцог Анжуйский, Франсуа (1554–1584) – сын французского короля Генриха II, носивший сначала титул герцога Алансонского, а потом герцога Анжуйского.

Кому он принадлежал – этого Роберу Брике не удалось узнать. Всадник старался, видно, совладать с гневом, но не сумел справиться с собой.

– А вы знаете тех, о ком говорите, милостивый государь? – спросил он гасконца.

– Знаю ли я Сальседа?

– Да.

– Совершенно не знаю.

– А герцога де Гиза?

– Точно так же.

– А герцога Алансонского?

– Еще менее.

– А известно вам, что господин де Сальсед – испытанный храбрец?

– Тем лучше – сумеет мужественно встретить смерть.

– Знаете ли вы, наконец, что, когда господин де Гиз задумывает какой-нибудь заговор, он сам работает над ним?

– Мне-то что до этого, черт возьми?!

– И что герцог Анжуйский, носивший прежде титул Алансонского, сам приказал умертвить или допустил убить всех, кто был ему привержен: Ла Моля⁵, Коконнаса⁶, Бюсси⁷ и других?

– Ну и пусть себе! Мне-то что! А, провались они!

– Как так? – негодуя воскликнул всадник.

– Мейнвиль! Мейнвиль! – пробормотал тот же неведомо откуда исходивший голос.

– Конечно, провались они. Я знаю, черт возьми, только одно: что у меня есть дело в Париже сегодня утром, а из-за этого сумасшедшего Сальседа у меня под носом закрыли ворота. Черт возьми! Этот Сальсед – бездельник, как и все, из-за кого ворота заперты, когда должны быть открыты.

– Ого! Какой свирепый гасконец! – пробормотал Робер Брике. – Сейчас, верно, произойдет что-нибудь любопытное...

Но то любопытное, чего он ожидал, и не думало происходить. Всадник – ему вся кровь бросилась в лицо при последних словах гасконца – опустил голову и промолчал, подавив в себе гнев.

– Да, вы правы, – согласился он наконец. – Черт побери всех, кто мешает нам войти в Париж!

– Ого! – пробормотал себе под нос Робер Брике, от которого не ускользнули ни частые изменения лица всадника, ни двукратные, обращенные к нему призывы быть терпеливее. – Кажется, я увижу нечто еще более любопытное, чем ожидал.

Меж тем как он предавался этим соображениям, раздался звук трубы. Швейцарцы, энергично раздвинув толпу алебардами, разрезали ее, точно огромный паштет из жаворонков, на две части – они выстроились в линию по обеим сторонам дороги, оставив середину пустой. На оставшееся незанятым пространство въехал офицер, которому была поручена охрана ворот, и, вызываясь посмотреть на собравшихся, приказал трубить в трубы.

При первом же их звуке в толпе наступило глубокое молчание – такого, казалось, невозможно было и ожидать после царившего только что шума и бурного волнения. Тогда высту-

⁵ *Ла Моль* Гиацинт де (?—1574) – французский дворянин, фаворит герцога Алансонского Франсуа. Жертва придворных интриг; казнен по обвинению в наведении порчи на короля.

⁶ *Коконнас* Аннибал (?—1574) – французский дворянин, фаворит герцога Алансонского Франсуа. Жертва придворных интриг; казнен по обвинению в наведении порчи на короля.

⁷ *Бюсси д'Амбуаз* Луи де Клермон (ок. 1549–1579) – французский дворянин, видный политический деятель; фаворит герцога Алансонского Франсуа; убит в результате политических интриг последнего.

пил вперед герольд в длинной, затканной лилиями тунике с гербом города Парижа на груди. Держа в руке бумагу, он прокричал характерным для всех глашатаев голосом немного в нос:

– «Сим извещаем наш добрый парижский народ и окрестных обывателей, что ворота будут закрыты до часа пополудни, и до этого часа никто не войдет в город. Такова воля короля; исполнение ее вверено бдительности парижского мэра».

Прокричав это, герольд остановился перевести дух. Паузой воспользовались в толпе, чтобы выразить удивление и недовольство, – герольд, надо отдать ему справедливость, не моргнув глазом выдержал и продолжительные свистки, и ропот. Но вот офицер повелительно махнул рукой – и немедленно воцарилась тишина. Герольд продолжал, бесстрастно и не спеша, – долгий опыт выработал у него, как видно, привычку к подобной реакции:

– «Исключение будет сделано только для тех, кто предъявит условный знак, по которому его можно признать, или кто официально призван письмами или указами.

Дан сей в парижской ратуше, на основании особого указа его величества, двадцать шестого октября тысяча пятьсот восемьдесят пятого года».

– Трубачи, трубите!

Сразу загремели раздирающие звуки труб. Едва герольд успел замолчать, как толпа позади выстроившихся шеренгой швейцарцев и солдат стала переливаться и заволновалась, извиваясь во все стороны, точно змея своими кольцами.

– Что все это значит? – спрашивали друг друга наиболее мирно настроенные. – Верно, опять какой-нибудь заговор!

– О! Несомненно, все это подстроено, чтобы помешать нам попасть в Париж, – тихим голосом заметил своим спутникам всадник, с таким необычайным терпением отнесшийся к грубым выходкам гасконца. – Швейцарцы, герольд, запоры, трубы – все для нас. Я горд этим, клянусь честью!

– Дайте место, вы, там! – приказал офицер, командовавший взводом солдат. – Тысяча чертей! Видите же, что мешаете пройти тем, кто имеет на то право.

– Черт побери! Я знаю кого-то, кто пройдет, пусть между ним и воротами встанут обыватели всего земного шара! – воскликнул, работая локтями, гасконец, возбудивший восхищение Робера Брике своими смелыми репликами.

И действительно, через мгновение он уже пробрался на свободное пространство, оставшееся не заполненным толпой благодаря энергичным действиям швейцарцев. Стоит ли говорить, что все взоры с любопытством устремились на взысканного судьбой – он дерзнул попытаться войти в город, тогда как ему надлежало оставаться за его стенами.

Но гасконец не обращал ни малейшего внимания на завистливые взгляды. Он горделиво стоял, выпятив грудь и напрягши мощные мускулы под зеленым поношенным камзолом, рукава которого были пальца на три короче, чем следовало, и не закрывали длинных сильных рук. Взор его был ясен и открыт, курчавые волосы были какого-то желтого цвета, – может быть, от природы, а может, и просто от дорожной пыли. Его крупные сухощавые ноги были гибки и жилисты, как ноги оленя. Одна рука его была в замшевой вышитой перчатке, казавшейся крайне изумленной тем, что ей приходится прикрывать столь грубую кожу, гораздо более грубую, чем она сама. В другой руке он держал ореховый хлыстик. Оглядевшись по сторонам и решив, видимо, что офицер, упомянутый нами выше, представляет собой самое значительное лицо, он направился прямо к нему. Тот, прежде чем заговорить с ним, некоторое время молча его разглядывал. Гасконец, нимало не смущаясь, поступил точно так же.

– Вы, кажется, потеряли шляпу? – осведомился офицер.

– Да, милостивый государь.

– Вероятно, в толпе?

– Нет. Я только что получил письмо от своей возлюбленной и читал его у реки, за четверть мили отсюда, как вдруг порыв ветра вырвал у меня письмо и унес шляпу. Я побежал за письмом, хотя на шляпе у меня красовался в виде застёжки крупный бриллиант. Письмо-то я поймал, но когда хотел погнаться за шляпой, то увидел, что ветер отнес ее на реку, а река – в Париж. Тем лучше – обогатит какого-нибудь бедняка!

– Так что вы остались с непокрытой головой?

– Да разве в Париже нельзя достать шляпы, черт побери! Куплю себе там еще более великолепную и посажу на нее бриллиант вдвое крупнее!

Офицер едва заметно пожал плечами, и жест этот при всей его неуловимости не укрылся от гасконца.

– Милостивый государь... – начал он.

– У вас есть пропуск? – перебил офицер.

– Конечно, есть, даже два, если надо.

– Одного достаточно, если он в порядке.

– Но я не ошибаюсь... – продолжал гасонец, широко раскрыв глаза. – Э нет, черт возьми, не ошибаюсь! Я имею удовольствие говорить с господином де Луаньяком?

– Может быть, – сухо отвечал офицер, видимо, вовсе не очарованный тем, что узнал собеседником.

– С господином де Луаньяком, моим земляком?

– Возможно.

– С моим кузеном?

– Прекрасно, но ваш пропуск?

– Вот он. – Гасонец вынул из-за перчатки половинку искусно вырезанной карточки.

– Следуйте за мной. – Луаньяк так и не взглянул на карточку. – Вы сами и ваши спутники, если они у вас есть. Будем проверять пропуска. – И он стал на свой пост перед воротами.

За офицером последовал гасонец с непокрытой головой, а за ним в свою очередь – еще пятеро. На первом из них была кираса такой чудной работы, будто вышла из рук самого Бенвенуто Челлини⁸; но из-за старомодного фасона великолепие это возбуждало не столько восторг, сколько смех. К тому же весь остальной костюм обладателя кирасы далеко не соответствовал почти царственно роскошному ее виду.

Позади второго, худого и загорелого, выступал толстый, с проседью слуга – как Санчо Панса вслед за Дон Кихотом. Третий нес на руках десятилетнего ребенка; за ним, ухватившись за его кожаный пояс, шла женщина, а за ее платьем держались еще двое детей – четырех и пяти лет. За ними выступал четвертый гасонец, вооруженный длиннейшей шпагой, – он прихрамывал.

Шествие замыкал молодой человек красивой, представительной наружности, на вороном, запыленном, но чистокровном коне. По сравнению с остальными у него был прямо-таки рыцарский вид. Двигался он тихим шагом, чтобы не опережать сотоварищей, и, быть может, тайне был даже доволен возможностью держаться не слишком близко от них. Доехав до демаркационной линии, образованной толпой, он слегка приостановился – и в эту минуту почувствовал, что кто-то дергает его сзади за шпагу. Пришлось обернуться: внимание его старался привлечь черноволосый юноша с блестящими глазами, небольшого роста, стройный, изящный, с перчатками на руках.

⁸ Бенвенуто Челлини (1500–1571) – итальянский скульптор, ювелир и писатель; мастер маньеризма. Работал во Флоренции, Пизе, Болонье, Венеции, Риме, в 1540–1545 гг. – в Париже и Фонтенбло при дворе короля Франциска I. Создавал виртуозные скульптурные и ювелирные произведения. Перу Челлини принадлежат несколько трактатов и «Рассуждений» о ювелирном искусстве, искусстве ваяния, зодчества, рисования и др., а также принесшие ему всемирную славу мемуары, напоминающие авантюрный роман (между 1558 и 1565 гг.).

- Чем могу вам служить? – осведомился молодой человек на коне.
- Окажите мне одну милость, сударь.
- Говорите, но скорей: видите – меня ждут.
- Мне необходимо войти в Париж... Понимаете – крайне необходимо. А вы как раз один, и вам нужен паж, который, при вашей представительности, не портил бы картины.
- Так что же?
- Так вот, по пословице – рука руку моет. Помогите мне войти в Париж, а я буду вашим пажом.
- Благодарю вас, – ответил всадник, – но я не нуждаюсь ни в чьих услугах.
- Даже в моих? – И совершенно неотразимая улыбка озарила лицо юноши.
- Ледяная оболочка, которой всадник пытался оградить свое сердце, мгновенно растаяла.
- Я хотел сказать, что не могу иметь собственных слуг...
- Да, знаю, вы небогаты, господин Эрнотон де Карменж. – И продолжал, не обратив никакого внимания на то, что собеседник его вздрогнул: – Поэтому не будем и говорить о жалованье... Наоборот, если вы исполните мою просьбу, то сами будете вознаграждены сторицей. Позвольте же мне вам служить, прошу вас, и знайте, что тот, кто обращается к вам с просьбой, не раз сам отдавал приказания. – Юноша пожал всаднику руку – чересчур свободный жест со стороны пажа – и обернулся к знакомой уже нам группе всадников: – Я проеду, что всего важнее... А вы, Мейнвиль, постарайтесь сделать то же самое любым путем.
- Этого еще мало, что вы проедете. Надо, чтобы он вас увидел.
- Будьте спокойны: раз я перешагну за эти ворота – он меня увидит.
- Не забудьте условного знака.
- Два пальца к губам, не правда ли?
- Да... А теперь – помогите вам Бог!
- Ну что же, – поторопил обладатель вороного коня, – скоро ли вы решитесь, господин паж?
- Вот я, хозяин! – И юноша легко вскочил на лошадь позади де Карменжа.
- Тот немедленно присоединился к пятерым, уже занятым предъявлением карточек и отстаиванием законности своих прав.
- «Э-э! – сказал себе Робер Брике, все время следивший за ними глазами. – Да это целый съезд гасконцев!.. Чтоб меня черт побрал, если я ошибаюсь!»

III

Смотр

Контроль в отношении тех шести лиц, которые выступили из толпы и приблизились к воротам, не был ни особенно строг, ни особенно продолжителен. Все дело заключалось в предъявлении офицеру половинки карточки: приложенная к другой половине, она должна составить с ней целое – большего не требовалось для установления прав подателя.

Первым подошел гасконец с непокрытой головой.

– Ваше имя? – задал ему вопрос офицер.

– Мое имя, господин офицер? Оно написано на этой карточке, где вы найдете и еще кое-что.

– Это меня не касается. Ваше имя? Или вы его не знаете?

– Как не знать, очень знаю... А если б даже и забыл, то вы, как земляк и родственник, могли бы мне напомнить.

– Ваше имя, тысячу чертей! Разве есть у меня время признавать каждого?

– Хорошо, хорошо... Меня зовут Перд де Пенкорне.

– Пердукас де Пенкорне, – повторил господин де Луаньяк (с этой минуты мы будем называть его так – по примеру его земляка).

– «Пердукас де Пенкорне, – прочитал он на карточке. – Двадцать шестого октября тысяча пятьсот восемьдесят пятого года, ровно в двенадцать часов дня».

– «Ворота Сент-Антуан», – добавил гасконец, прикоснувшись к карточке своим черным худым пальцем.

– Прекрасно, все в порядке, проходите. – Луаньяк желал положить конец всякой дальнейшей беседе с ним земляка. – Ваша очередь, – обратился он ко второму.

К офицеру подошел гасконец в кирасе.

– Ваш пропуск?

– Как, господин Луаньяк?! – воскликнул тот. – Неужели вы не узнаете сына одного из ваших друзей детства, – вы столько раз держали меня на коленях?

– Нет.

– Я Пертинакс де Монкрабо, – произнес в полном изумлении молодой человек. – Вы меня не узнаете?

– Когда я при исполнении служебных обязанностей, то не узнаю никого, милостивый государь. Ваша карточка?

Молодой человек в кирасе протянул ему пропуск.

– «Пертинакс де Монкрабо. Двадцать шестого октября тысяча пятьсот восемьдесят пятого года, ровно в двенадцать часов дня. Ворота Сент-Антуан». Проходите.

Теперь очередь была за третьим гасконцем, с ребенком на руках и с женой.

– Ваша карточка?

Рука гасконца послушно опустилась в кожаную сумку, висевшую у него через правое плечо, но ничего там не нашла: движения его были стеснены ребенком, которого он держал на руках, и ему не удавалось отыскать требуемую бумагу.

– Зачем вы носите с ребенком? Видите ведь, что он вам мешает?

– Это мой сын, господин де Луаньяк.

– Ну так спустите на землю вашего сына.

Гасконец повиновался; ребенок заревел.

– Вы, значит, женаты? – уточнил Луаньяк.

– Женат, господин офицер.

– Двадцати лет от роду?

– У нас все рано женятся, господин Луаньяк... Вам ли этого не знать – вы сами женились в восемнадцать лет.

– Так... И этот меня знает!

В эту минуту к ним подошла женщина, за которой тащились двое детей, держась за ее юбку.

– А почему бы ему и не быть женатым? – Она откинула со лба прилипшие к нему густые пряди черных запыленных волос. – Или в Париже больше не в моде жениться? Да, милостивый государь, он женат, и вот еще двое детей, называющих его отцом.

– Да, но они не мои дети, а моей жены, господин Луаньяк, как и этот великовозрастный малый, стоящий за ними. Подойди, Милитор, и поклонись нашему соотечественнику господину де Луаньяку.

Рослый, коренастый, юркий юноша лет семнадцати, сильно смахивавший на коршуна своими круглыми глазами и крючковатым носом, нехотя подошел, держа обе руки за кожаным поясом. На нем была вязаная куртка и замшевые панталоны. Пробивавшиеся усики темнели над его губами, чувственными и наглыми.

– Это Милитор, мой пасынок, старший сын моей жены, по первому мужу Шавантрад, родственницы Луаньяков. Кланяйся же, Милитор! А ты замолчи, Сципион, замолчи, крошка! – увещевал он малыша, шаря по всем карманам и нагибаясь к ребенку, с ревом катавшемся по песку.

Тем временем, повинуясь приказу отца, Милитор небрежно поклонился, не вынимая рук из-за кожаного пояса.

– Бога ради, ваш пропуск! – воскликнул, теряя терпение, Луаньяк.

– Подите сюда и помогите мне, Лардиль, – обратился к жене гасконец, весь красный от смущения.

Лардиль отцепила от юбки ухватившиеся за нее детские ручонки и принялась в свою очередь рыться в карманах и сумке мужа.

– Нет нигде! – наконец доложила она. – Мы, должно быть, потеряли ее!

– В таком случае я велю вас задержать, – заявил Луаньяк.

Гасконец побледнел:

– Меня зовут Эсташ Мираду. За меня может поручиться родственник мой, Сент-Малин.

– Вы родственник Сент-Малина? – Луаньяк несколько смягчился. – Впрочем, послушай только вас – вы окажетесь в родстве с целым миром. Ищите лучше хорошенько, да старайтесь, чтобы ваши поиски увенчались успехом.

– Посмотри, Лардиль, в детских вещах, – пробормотал Эсташ, дрожа от страха и стыда.

Лардиль опустила на колени и принялась перебирать небольшой узелок с немудреным детским платьем. Между тем малолетний Сципион, предоставленный самому себе, продолжал орать во все горло, а его братья, видя, что никто не обращает на них внимания, развлекались тем, что набивали ему рот песком. Один Милитор стоял истуканом, словно все семейные невзгоды его не касались.

– Ба!.. – воскликнул вдруг Луаньяк. – Что это я там вижу, за рукавом этого долговязого малого, в кожаном конверте?

– Да, да, это она! – возликовал Эсташ. – Я теперь вспомнил: это Лардиль придумала пришить карточку к рукаву Милитора.

– Чтоб и он что-нибудь нес, – заметил насмешливо Луаньяк. – Фу, большой теленок – и руки-то не может опустить: боится, придется их нести.

Губы Милитора посинели от злости, а на носу, подбородке и бровях выступили красные пятна.

– У теленка рук нет, – метнув злобный взгляд, пробормотал он сквозь зубы, – хоть он и животное. Да и кое-кто из людей – тоже.

– Ну, ты, потише! – урезонил его Эсташ. – Не видишь разве: господин Луаньяк делает нам честь – шутит с нами.

– Нет, черт возьми! Вовсе я не шучу! – возразил Луаньяк. – Напротив, пусть этот шалопай примет мои слова всерьез. Будь он моим пасынком – заставил бы его нести мать, братьев, узлы и сам вскарабкался бы поверх всего. Как раз удобно потянуть его за уши, чтоб доказать, что он осел!

Милитор совершенно растерялся; Эсташ же хотя и имел встревоженный вид, но под этой тревогой проглядывала затаенная радость, что пасынок претерпел такое унижение. Лардиль, желая разом предотвратить всякие осложнения и избавить своего первенца от язвительных насмешек Луаньяка, поспешила подать ему карточку. Тот взял и громко прочел:

– «Эсташ Мираду, двадцать шестого октября тысяча пятьсот восемьдесят пятого года, ровно в двенадцать часов дня. Ворота Сент-Антуан». Проходите, – добавил он, – и оглянитесь, не забыли ли кого из ваших отпрысков.

Эсташ Мираду снова взял на руки Сципиона, Лардиль по-прежнему ухватила за пояс мужа, дети уцепились за юбку матери, и вся семья с замыкавшим шествие Милитором присоединилась к миновавшим уже контроль гасконцам.

– Ну и войско набрал себе господин д'Эпернон⁹! – пробормотал сквозь зубы Луаньяк, глядя на дефилировавшего мимо него Эсташа де Мираду с семейством. – Чья очередь? Подходите! – обернулся он к ожидавшим.

Очередь была за четвертым; он приблизился один, держась очень прямо и щелчками стряхивая пыль с темно-серого камзола. Щетинистые усы, зеленые блестящие глаза, густые брови, дугой резко выделявшиеся на скуластом лице, наконец, тонкие сжатые губы – все это придавало ему выражение недоверчивое и замкнутое, по которому нетрудно узнать человека, так же тщательно скрывавшего содержимое кошелька, как и тайники сердца.

– «Шалабр, двадцать шестого октября тысяча пятьсот восемьдесят пятого года, ровно в двенадцать часов дня. Ворота Сент-Антуан». Хорошо, проходите.

– Дорожные расходы будут, я полагаю, возмещены? – коротко осведомился гасконец.

– Я еще не казначей, сударь, а пока привратник, – сухо ответил Луаньяк. – Проходите.

За Шалабром последовал белокурый молодой человек. Доставая пропуск, он выронил из кармана кости и колоду игральные карты. Сказал, что его зовут Сент-Капотель, и так как заявление это подтверждалось карточкой, то вскоре присоединился к Шалабру.

Оставался шестой, и последний; следуя указанию своего самозванного паж, он сошел с коня и предъявил карточку, на которой стояло: «Эрнотон де Карменж. Двадцать шестое октября тысяча пятьсот восемьдесят пятого года, ровно в двенадцать часов дня. Ворота Сент-Антуан».

Пока господин де Луаньяк читал карточку, паж – он тоже сошел на землю – все старался скрыть лицо, низко пригнув голову и поправляя для виду упряжь.

– Это ваш паж? – указал на него Луаньяк.

– Сами видите, капитан, – Эрнотон не желал ни лгать, ни обмануть доверие незнакомого юноши, – он взнуздывает мою лошадь.

– Проходите, – Луаньяк внимательно всматривался в господина де Карменжа: наружность его и осанка, казалось, пришлись ему более по вкусу, чем у всех остальных. – Этот, по крайней мере, хоть сносен, – пробормотал он.

⁹ Д'Эпернон Жан Луи де Ногаре де Ла Валетт (1554–1642) – французский вельможа, герцог, фаворит Генриха III. С ранней молодости принимал участие в военных действиях во время религиозных войн, прославился своей храбростью и ненасытной жадностью.

Эрнотон сел на лошадь; паж меж тем уже опередил его, без излишней, впрочем, торопливости и с самым непринужденным видом, и уже смешался с гасконцами, стоявшими поодаль.

– Отворить ворота! – скомандовал Луаньяк. – Пропустить этих шестерых и сопровождающих их слуг!

– Скорей, скорей! – поторопил паж. – В седло – и едем!

Эрнотон еще раз невольно уступил этому странному юноше: как только ворота открылись, он пришпорил коня и поскакал, следуя за пажом, в самый центр квартала Сент-Антуан.

Как только шестеро счастливых прошли в ворота, Луаньяк приказал снова закрыть их, к величайшему неудовольствию толпы: все надеялись, что по завершении формальностей их впустят, и теперь, обманутые в своих ожиданиях, шумно выражали неодобрение.

Господин Митон, в смертельном испуге убежавший далеко в поле, мало-помалу набрался храбрости и осторожно вернулся на прежнее место; мало того, рискнул даже высказаться по поводу произвола солдат, лишаящих народ свободы передвижения.

Фриар, отыскивавший наконец жену и чувствовавший себя, видимо, в полной безопасности под ее защитой, передавал своей достойной половине дневные новости, существенно дополненные личными комментариями.

Тем временем группа всадников – одного из них паж назвал Мейнвилем – держала совет: не обогнуть ли городскую стену в надежде (и небезосновательной) набрести на какую-нибудь брешь и войти через нее в Париж, не подвергаясь дальнейшей задержке у городских ворот – этих ли, других ли?

Робер Брике, как все анализирующий философ и ученый, из всего извлекающий квинт-эссенцию, вскоре сообразил, что развязка только что описанной сцены должна непременно произойти у ворот и что из частных разговоров всадников, мещан и крестьян он больше не узнает ничего. А потому он подошел как только можно было ближе к маленькой пристройке, в которой жил сторож, с двумя окошками, выходившими одно на Париж, а другое на большую дорогу. Только он успел пристроиться на новом месте, как из Парижа прискакал галопом верховой, соскочил с лошади, вошел в домик и показался у окна.

– А-а! – тут же отметил господин де Луаньяк. – Это вы? Откуда?

– От ворот Сен-Виктор.

– Сколько занесено в списки?

– Пятеро.

– А пропуска?

– Вот они.

Луаньяк взял карточки, проверил их и написал на заранее приготовленной доске цифру 5. Гонец тотчас же уехал. Не прошло и пяти минут, как прискакали еще двое: один – от ворот Бурдель, другой – от ворот Тамплъ. Со слов первого Луаньяк тщательно записал цифру 4, а со слов второго – цифру 6. Гонцы ускакали, а на смену им явились один за другим еще четверо. Первый прибыл от ворот Сен-Дени с цифрой 5; второй – от ворот Сен-Жак с цифрой 3; третий – от ворот Сент-Оноре с цифрой 8; четвертый – от ворот Монмартр с цифрой 4, и, наконец, последний – от ворот Бюсси, также с цифрой 4. Тогда Луаньяк занес все эти цифры и названия ворот на доску и внимательно подвел итог:

«Ворота Сент-Виктор – 5

Бурдель – 4

Тамплъ – 6

Сен-Дени – 5

Сен-Жак – 3

Сент-Оноре – 8

Монмартр – 4

Бюсси – 4
Сент-Антуан – 6
Итого – 45».

– А теперь, – громко выкрикнул он, – отворить ворота! Пусть входит кто хочет!

В одно мгновение лошади, повозки, ослы, женщины, дети – все это бросилось к воротам, подвергаясь опасности быть задавленными между столбами подъемного моста. И не более как четверть часа спустя народные волны, с утра задержанные у временной плотины, текли по широкой городской артерии, именуемой улицей Сент-Антуан. Когда гул толпы стих, господин Луаньяк сел на лошадь и удалился со своим взводом.

Робер Брике, оставшись последним, хотя был здесь в числе первых, не спеша перешагнул через цепь подъемного моста.

«Все эти люди, – говорил он себе, – собрались сюда, чтобы что-нибудь увидеть, и не видели ровно ничего, даже того, что касается их собственных дел. Я же не рассчитывал ничего увидеть, а между тем единственный, кто кое-что видел. Заманчиво, черт возьми! Не продолжить ли? Но к чему? Я и без того знаю достаточно. Какая мне польза, если я увижу, как четвертуют господина Сальседа? Никакой... И вообще, я отказался от политики. Пойду-ка лучше обедать: солнце показывало бы полдень, сияй оно на небе».

С этими словами он вошел в Париж, и обычная спокойная, насмешливая улыбка была на его губах.

IV

Ложа его величества короля Генриха III на Гревской площади

Если бы мы пошли за толпой по людной улице Сент-Антуан до Гревской площади, в которую она упирается, то, без всякого сомнения, встретили бы по пути много уже знакомых нам лиц. Но пока злополучные горожане, не отличавшиеся благоразумием Брике, медленно продвигаются вперед среди страшной давки, терпя толчки, стиснутые толпой до полусмерти, мы, пользуясь правами исторического писателя, предпочитаем перенестись на крыльях на площадь, окинуть взглядом общую картину и затем на мгновение обратиться к прошедшему, чтобы по лицезрению действия глубже вникнуть в его причину. Фриар был прав, определяя в сто тысяч число зрителей, которые соберутся на Гревской площади и ближайших улицах, чтобы насладиться готовившимся там зрелищем. Все парижане дали друг другу обещание встретиться у городской ратуши, а парижане очень аккуратны в этом отношении. Париж никогда не пропустит ни одного праздника, а разве не праздник, не редкий праздник – смерть человека, сумевшего так разжечь страсти, что одни его осыпали проклятиями, другие – восторженными похвалами, а третьи, и таких было большинство, жалели.

Первое, что бросалось в глаза зрителю, которому удалось бы с той или другой стороны добраться до площади, – отряд стрелков под командой офицера Таншона; эскадрон легкой кавалерии и значительное число швейцарцев, окружавших небольшой помост высотой фута четыре.

Этот помост, настолько низкий, что был виден лишь стоявшим рядом и тем, кому удалось заручиться местами в окнах домов, ожидал еще с утра попавшего в руки монахов осужденного, а его, по энергичному и меткому народному выражению, ожидали лошади – в дальнюю путь-дорогу.

Действительно, под навесом одного из ближайших домов четыре сильных першерона, с белыми гривами и мохнатыми ногами, нетерпеливо били копытами по мостовой и грызлись, оглашая воздух громким ржанием, чем наводили ужас и трепет на женщин, добровольно избравших это место или оттиснутых туда толпой.

Эти лошади никогда не ходили ни в упряжи, ни под всадниками, разве что случайно, в степях своей родины, снисходительно дозволяли толстощекому отпрыску крестьянина, спешившему вернуться с поля после заката солнца, проехаться на себе верхом.

После помоста и лошадей более всего привлекало внимание зрителей обтянутое красным бархатом с золотым позументом широкое окно ратуши, из которого свешивался бархатный ковер, украшенный королевским гербом. То была ложа, приготовленная для короля.

Часы на колокольне пробили половину второго, когда это окно, служившее как бы рамой для картины, заняли лица, которые должны были составить саму картину, вставленную в эту роскошную раму.

Первым показался король Генрих III, бледный и почти совершенно лысый, хотя ему было в то время не более тридцати четырех – тридцати пяти лет. Темная синева окружала его глубоко запавшие глаза, судорога то и дело пробегала по губам. Угрюмый, как всегда, с неподвижным взглядом, он шел величавой и вместе неуверенной поступью. Все в нем казалось странным: и манера держаться, и походка... Скорее тень, чем живой человек, скорее призрак, чем король, – олицетворение непонятной и не понятой его подданными загадки. При появлении короля народ обыкновенно недоумевал, кричать ли ему: «Да здравствует король!» – или молиться за упокой его души? Король был в черном бархатном камзоле, без орденов и драгоценностей. Только на берете, придерживая три коротких завитых пера, сиял брилли-

ант. На левой руке он держал маленькую черную собачку, присланную ему из тюрьмы его невесткой Марией Стюарт¹⁰, – на длинной шелковистой шерсти сверкали белизной тонкие, как бы изваянные из мрамора пальцы.

За ним шла Екатерина Медичи¹¹, несколько согбенная годами – королеве-матери было шестьдесят шесть – шестьдесят семь лет, – но по-прежнему высоко неся голову, по-прежнему бросая по сторонам острые как сталь взгляды из-под сдвинутых бровей, что не мешало ей, в своем неизменном траурном одеянии, иметь вид бесстрастной восковой фигуры.

Рядом с ней виднелось кроткое, задумчивое лицо королевы Луизы Лотарингской¹², супруги Генриха III, – на первый взгляд бесцветная и безличная, она была на самом деле преданной спутницей короля в его бурной и несчастной жизни.

Королева Екатерина Медичи шла на торжество – королева Луиза присутствовала при пытке. Для короля Генриха это было прежде всего дело. Эти три оттенка душевного настроения легко читались на гордом челе первой, в покорно склоненном лице второй и на затуманенном, носившем печать скуки лице третьего.

За тремя высочайшими особами, возбуждавшими любопытство и внимание толпы своим безмолвием и бледностью, шли двое молодых людей: один лет двадцати, другой – не более двадцати пяти. Они шли под руку вопреки придворному этикету, по которому никто в присутствии короля, как и в церкви перед Богом, не смеет казаться привязанным к кому-либо. У обоих на губах улыбка: у младшего она дышала безграничной скорбью, у старшего – чарующей прелестью беззаботной молодости. Оба были высокого роста и хороши собой. Они были братьями. Первого звали Генрих де Жуайез граф дю Бушаж, второго – герцог Анн де Жуайез. Еще очень недавно он был известен под именем д'Арк, но Генрих III, питавший к нему исключительную, безграничную любовь, возвел его год назад в пэры Франции и из виконта сделал герцогом.

Народ не питал к этому любимцу короля ненависти, как некогда к Келюсу¹³, Шомбергу и Можирону, – ненависти, унаследованной теперь одним д'Эперноном, – а потому приветствовал короля и обоих братьев хоть и сдержанными, но лестными кликами.

Генрих холодно, без тени улыбки поклонился толпе, а затем поцеловал свою собачку в морду.

– Прислонитесь к стене, Анн, – сказал он через секунду старшему Жуайезу¹⁴, обращаясь к нему. – Вы устанете стоять все время на ногах. Это может продлиться долго.

– Надеюсь, государь, это продлится долго и, кроме того, будет хорошо, – вставила Екатерина.

– Вы, стало быть, полагаете, матушка, что Сальсед будет говорить? – спросил король.

– Господь, я надеюсь, пошлет это посрамление нашим врагам. Я говорю – нашим врагам, так как они и ваши враги, дочь моя, – прибавила она, повернувшись к королеве Луизе.

¹⁰ *Мария Стюарт* (1542–1587) – французская королева (1559–1560), шотландская королева с 1561 г., претендовала также на английский престол. Была лишена трона в результате восстания знати; бежала в Англию, где была подвергнута заключению. За участие в ряде неудачных заговоров казнена.

¹¹ *Екатерина Медичи* (1519–1589) – французская королева с 1547 г., жена французского короля Генриха II. После смерти мужа в 1559 г. почти тридцать лет правила Францией в качестве регентши (королевы-матери). Была одним из организаторов Варфоломеевской ночи (1572).

¹² *Луиза де Водемон* Лотарингская (1553–1601) – французская королева с 1575 г., жена Генриха III, троюродная сестра герцогов Гизов.

¹³ *Келюс*, *Можирон*, *Шомберг* – французские дворяне, первые двое – фавориты Генриха III, погибшие в 1578 г. на знаменитой дуэли, описанной в романе А. Дюма «Графиня Монсоро».

¹⁴ *Генрих Жуайез* (1567–1608) – французский дворянин, герцог, маршал. Вступил в орден капуцинов и был деятельным членом Лиги, но затем примирился с Генрихом IV и стал маршалом и губернатором Лангедока. В 1600 г. оставил светскую жизнь. *Анн Жуайез* (1561–1587) – французский дворянин, герцог, любимец Генриха III. Последний сделал его герцогом, пэром, адмиралом, губернатором Нормандии и женил на сестре королевы. Пал в битве при Кутра.

Та побледнела и потупила кроткий взгляд.

Король в знак сомнения покачал головой; обратив внимание, что Жуайез все еще стоит, несмотря на данное ему позволение устроиться удобнее, король снова обернулся к нему:

– Послушайте же меня, Анн, прислонитесь к стене или к спинке моего кресла.

– Ваше величество, вы слишком добры ко мне, – ответил молодой герцог, – и я только тогда воспользуюсь вашим позволением, когда действительно почувствую усталость.

– Но мы, конечно, этого не станем дожидаться, брат мой, не правда ли? – шепнул ему на ухо Генрих.

– Будь покоен, – скорее глазами, чем словами, ответил ему Анн.

– Сын мой, мне кажется, я вижу какое-то волнение в народе на углу набережной, – сказала Екатерина.

– Какое у вас острое зрение, матушка! – откликнулся король. – Как плохи в сравнении с вашими мои глаза, хотя я-то не стар еще! Да, вы, видимо, не ошиблись.

– Государь, – без всякого стеснения перебил его Жуайез, – это волнение вызвано тем, что толпу заставляют податься назад стрелки. Вероятно, везут осужденного.

– Как это лестно для коронованных особ, – проговорила Екатерина, – смотреть на четвертование человека, в чьих жилах течет капля королевской крови! – При этих словах она смотрела, не спуская глаз, на королеву Луизу.

– Государыня, простите, пощадите! – промолвила молодая королева, тщетно стараясь скрыть отчаяние. – Нет, этот изверг не из моей семьи, и вы, конечно, не хотели этого сказать!

– Разумеется, нет, – вмешался король. – Я уверен – матушка не хотела.

– Но он близок к Лотарингскому дому, – недовольным тоном продолжала Екатерина, – то есть к вашему, дочь моя; следовательно, этот Сальсед имеет к вам некоторое отношение, и даже довольно близкое.

– То есть, – перебил ее Жуайез в порыве благородного негодования, составлявшего отличительную черту его характера и всегда вырывавшегося наружу, кто бы ни возбудил в нем это справедливое чувство, – он, может быть, имеет близкое отношение к господину де Гизу, но никак не к французской королеве!

– А! Вы здесь, господин де Жуайез? – Екатерина с не поддающейся описанию надменностью отплатила ему унижением за неприятность. – Я вас и не заметила.

– Да, я здесь, государыня, и не только с ведома, но и по приказанию короля, – ответил Жуайез, вопросительно взглянув на Генриха. – Четвертование человека, право, не такое веселое зрелище, чтобы я пришел присутствовать при нем, не будучи к тому вынужден.

– Жуайез прав, государыня, – подтвердил Генрих, – здесь дело идет не о Гизах, не о лотарингцах и, конечно, не о королеве, а о том, чтобы видеть, как будут четвертовать господина Сальседа, то есть убийцу, покушавшегося на жизнь моего брата.

– Для меня сегодня несчастный день. – Екатерина сразу отступила и сменила тон, следуя своей обычной искусной тактике. – Я довела до слез мою дочь и, да простит мне Бог, кажется, служу предметом смеха для господина де Жуайеза.

– О государыня, неужели ваше величество может так неправильно истолковывать мою скорбь? – воскликнула королева Луиза, порывисто схватив руку Екатерины.

– И сомневаться в глубочайшем моем почтении, – прибавил Жуайез.

– Правда, правда, – промолвила Екатерина, пуская последнюю стрелу в сердце невестки, – я бы должна была подумать о том, дитя мое, как вам тяжело видеть разоблачение заговоров ваших лотарингских родичей, и хотя вы тут ни при чем, все же это родство заставляет вас немало страдать.

– Да-да, тут действительно есть некоторая доля правды. – Король постарался всех примирить. – Потому что на этот раз мы, по крайней мере, знаем, что думать относительно соучастия господ Гизов в этом заговоре.

– Но, государь, – несколько осмелела королева Луиза, – вашему величеству прекрасно известно, что, став французской королевой, я оставила всех своих родных у подножия трона.

– А, я не ошибся, государь! – воскликнул вдруг Жуайез. – Вот и осужденный. Боже! Какая у него отвратительная наружность!

– Он, видимо, очень боится, – предположила Екатерина, – и будет говорить.

– Если у него на то хватит сил, – проговорил король. – Смотрите – голова его бессильно качается из стороны в сторону, как у мертвеца.

– Да, государь, надо сознаться, он страшен, – согласился Жуайез.

– Как же вы хотите, чтобы человек, у которого в голове гнездятся отталкивающие мысли, был хорош собой? Ведь я вам, кажется, объяснял загадочное соотношение, существующее между нашей физической и нравственной организацией, согласно представлению и объяснению Гиппократ¹⁵ и Галена¹⁶?

– Весьма возможно, государь; но я не так силен в науках, как вы, и могу сказать только одно – что мне приходилось видеть очень безобразных людей, которые были храбрыми, боевыми служаками... Не правда ли, Генрих?

Жуайез обернулся к брату за подкреплением, желая заручиться его одобрением. Но тот был погружен в глубокую задумчивость, и хотя, казалось, все видел и слышал, в действительности для него не существовало решительно ничего из происходившего вокруг.

– Ах, боже мой, – ответил за него король. – Кто же отрицает, что и этот храбр? Конечно, он храбр, да еще как! Как медведь, как волк или змея! Разве вы забыли его прошлое? Он сжег у себя в доме своего врага, нормандского дворянина; десять раз дрался на дуэли, причем убил троих, и, наконец, был уличен в чеканке фальшивых монет, за что и приговорили его к смерти.

– И несмотря на такие доблестные деяния, – добавила Екатерина, – он получил помилование по ходатайству герцога де Гиза, вашего двоюродного брата, дочь моя.

На этот раз королева Луиза, окончательно сраженная, ограничилась глубоким вздохом.

– Да, – заметил Жуайез, – жизнь его была, можно сказать, полна, и теперь он скоро распрощается с ней.

– А я надеюсь, – возразила Екатерина, – что, напротив, это прощание будет длиться как можно дольше.

– Государыня, – продолжал свое Жуайез, – я вижу там, под навесом, четверку таких добрых коней, и они, как видно, так плохо мирятся со своим вынужденным временным бездействием, что трудно ожидать долгого сопротивления их силе со стороны мускулов, сухожилий и суставов господина де Сальседа.

– Конечно, если бы это не было предусмотрено... Но сын мой по своему добросердечию, – добавила Екатерина с одной ей присущей улыбкой, – прикажет палачам несколько сдерживать лошадей.

– Но, государыня, – робко вставила королева Луиза, – я слышала, как вы сегодня утром говорили госпоже Маркер, что лошади будут растягивать его только в два приема.

– Да, если он хорошо поведет себя. Тогда с ним покончат как можно скорее... Но вы слышите, дочь моя, – вы ведь принимаете в нем горячее участие, и я хотела бы, чтобы вы как-нибудь довели это до его сведения, – необходимо, чтобы он вел себя как надо.

– Дело в том, государыня, что Бог не дал мне такого запаса нравственных сил, как у вас, и потому я не очень расположена видеть чьи-либо страдания.

– Ну так вам остается одно – не смотреть.

¹⁵ Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 до н. э.) – древнегреческий врач, реформатор античной медицины, материалист.

¹⁶ Гален (129–199) – знаменитый греческий врач, последний крупный представитель научной медицины в античности. В 157–161 гг. – врач гладиаторов в Пергаме, с 169 г. – лейб-медик при дворе императора. В его многочисленных сочинениях отражены все достижения медицины того времени. Автор целого ряда философских сочинений.

Королева умолкла.

Что касается короля, то он ничего не слышал: все его внимание было сосредоточено на преступнике, которого в это время высаживали из позорной колесницы на эшафот.

Тем временем стрелки и швейцарцы понуждали толпу податься назад, и благодаря этому вокруг помоста образовалось свободное пространство, позволявшее всем, несмотря на незначительную высоту эшафота, видеть осужденного. Сальсед – ему можно было дать лет тридцать пять – был крепкого, могучего сложения. Бледное лицо его, по которому струился пот, оживлялось, когда он бросал по сторонам испытующие взгляды, полные какого-то непередаваемого выражения то надежды, то муки. Первый взгляд его был устремлен на королевскую ложу, но, как будто сознавая, что оттуда ему надо ждать смерти, а не спасения, Сальсед тотчас же отвел глаза.

Явно занимала его толпа, это бурное море, в чьих недрах он чего-то жадно искал горящим взором, – в нем, казалось, сосредоточилась вся его жизнь. Толпа хранила молчание.

Сальсед не был заурядным убийцей: во-первых, он был знатного происхождения – сама Екатерина Медичи, весьма сильная по части генеалогии, хотя всегда старалась показать, что совершенно ею пренебрегает, открыла, что в жилах его течет капля королевской крови; а во-вторых, он был офицер, и небезызвестный своими военными заслугами. Руки его, в данную минуту связанные веревкой, в былое время храбро держали шпагу, а в голове этого преступника (в искаженных чертах его ясно читался ужас перед близкой смертью, который он затаил бы, конечно, в глубине души, если бы не теплилась в нем и живая надежда), – в голове этого преступника, повторяем, рождались незаурядные мысли и планы.

Вот почему для многих зрителей Сальсед был героем, для других – жертвой, и только немногие смотрели на него как на убийцу; толпа вообще неохотно относит к разряду обыкновенных преступников тех, кто отважился на одно из государственных преступлений, которые заносятся не только на скрижали правосудия, но и на скрижали истории.

В толпе говорили про то, что Сальсед – наследник храбрых, воинственных предков; что отец его вел ожесточенную борьбу с кардиналом Лотарингским¹⁷, приведшую его к героической смерти во время убийств Варфоломеевской ночи; что сын, забыв об этой смерти или, скорее, принеся свою ненависть в жертву честолюбивым замыслам (всегда возбуждающим в народе симпатию), заключил договор с Испанией и с Гизами с целью уничтожить во Фландрии зарождающееся владычество ненавидимого французами герцога Анжуйского.

Говорили также о существовавших отношениях между ним, База и Балуином, предполагаемыми главарями заговора, едва не стоившего жизни брату Генриха III, герцогу Франсуа; о замечательной ловкости, оказанной Сальседом во время судебного разбирательства в стараниях избежать виселицы, костра и колеса, еще обагренного кровью его сообщников; о том, что он один своими показаниями, – по словам лотарингцев ложными, но искусно придуманными, – настолько сумел разлакомить судей, что в надежде узнать от него еще что-нибудь поважнее герцог Анжуйский решил до времени пощадить его и приказал доставить во Францию, вместо того чтобы отрубить ему голову в Антверпене или Брюсселе. Правда, в конце концов он пришел к тому же; но во все время этого путешествия, – на которое он и рассчитывал, делая свои разоблачения, – Сальсед не переставал надеяться, что соучастники его отобьют и увезут. К несчастью, он в данном случае не предусмотрел, что охрана его драгоценной особы будет доверена господину де Бельевру, а последний проявит неусыпную бдительность, и ни испанцы, ни лотарингцы, ни члены Лиги не смогут подступиться к нему ближе чем на несколько миль.

¹⁷ Кардинал Лотарингский – Карл Гиз (1525–1574), кардинал Лотарингский, пользовался большим влиянием при французском королевском дворе. Его правление в качестве министра Франциска II отличалось жестокостью и крайним своеволием. Был бескомпромиссным врагом гугенотов.

Сальсед продолжал питать надежду в тюремном заключении и во время пытки; не утратил ее на позорной колеснице и даже теперь, стоя на эшафоте. Не то чтобы у него не хватало мужества или душевной силы покориться неизбежному, но он принадлежал к тем живучим людям, которые защищаются до последнего вздоха, с редким упорством и мощью.

Король, как и все парижане, отдавал себе, конечно, отчет, какая преследует Сальседа неотвязчивая мысль. Со своей стороны, Екатерина с тревогой следила за малейшим движением несчастного осужденного, но он был слишком далеко от нее, чтобы она могла проследить за направлением его взгляда, за быстрыми изменениями выражения глаз.

Как только он появился, зрители стали кто поднимать на плечи женщин и детей, кто сами становиться на плечи передним, чтобы лучше видеть, образуя живую пирамиду. И каждый раз, как над морем голов показывалась новая голова, Сальсед впивался в нее испытующим взором – мига ему было достаточно, чтобы подвергнуть новое для него лицо такому внимательному и всестороннему анализу, на который другому потребовался бы час: все его душевные силы находились в том напряженном состоянии, когда они удесятерятся необходимостью беречь, как драгоценность, каждую секунду. Метнув быстрый, как молния, взгляд на новое лицо, Сальсед вновь становился мрачен и устремлял внимание на что-нибудь другое.

Тем временем палач уже завладел осужденным и стал его привязывать за середину туловища к центральной части помоста. Два стрелка по знаку распорядившегося церемонией поручика Таншона пошли за лошадьми, раздвигая народные волны. При других обстоятельствах им не удалось бы сделать в густой толпе и двух шагов, но народ знал, за чем они шли, и сам давал им дорогу, стараясь потесниться, – так на заполненной актерами сцене дают место артистам, исполняющим главные роли.

В эту самую минуту у входа в королевскую ложу послышался шум, и дежурный офицер, приподняв портьеру, доложил их величествам, что председатель парламента Бриссон с четырьмя членами совета, в числе которых и докладчик данного судебного дела, желали бы иметь честь переговорить с королем по поводу предстоящей казни.

– Это как нельзя более кстати. – И Генрих обернулся к Екатерине: – Ну, матушка, вы удовлетворены?

Вместо ответа Екатерина одобрительно кивнула головой.

– Пусть они войдут, – приказал король.

– Государь, прошу вас о милости... – произнес Жуайез.

– Говори, Жуайез, и если только дело идет не о милости для осужденного...

– О нет, государь, будьте покойны.

– Так говори, я слушаю.

– И я, и мой брат, государь, совершенно не выносим вида двух предметов – красных и черных одеяний. Сובлаговолите, государь, разрешить нам удалиться.

– Как! – воскликнул король. – Вас так мало занимают мои дела, господин де Жуайез, что вы просите разрешения удалиться в подобную минуту?

– Вовсе нет, государь, – все, что касается вашего величества, имеет для меня глубокое значение, но я так глупо создан, что в данном случае любая женщина окажется крепче меня. Не переносу зрелища казней, всегда потом болею целую неделю. А ведь я один при дворе еще не разучился смеяться, с тех пор как брат мой почему-то перестал разделять мою веселость. Подумайте, что станет с Лувром, столь скучным и угрюмым, если и я вздумаю еще усиливать общее печальное настроение? Умоляю вас, государь...

– Ты хочешь меня покинуть, Анн? – проговорил Генрих с непередаваемой грустью.

– Государь, вы чересчур требовательны! Казнь преступника на Гревской площади¹⁸ одновременно и возмездие и зрелище, да еще такое, что вам – в противоположность мне – очень любопытно это видеть. Но вам мало возмездия и зрелища, вы хотите насладиться и слабостью ваших друзей!

– Останься, Жуайез, увидишь – это очень интересно...

– Верю, государь; опасаюсь даже – настолько интересно и увлекательно, что я не в состоянии буду этого вынести. Итак, вы разрешаете, не правда ли? – Он сделал шаг к двери.

– Ну, поступай как знаешь, – промолвил король. – Моя судьба – быть одиноким.

И Генрих III озабоченно оглянулся на мать – не слышала ли она разговора с фаворитом.

Екатерина обладала столь же тонким слухом, как и зрением; но, когда она не хотела чего-нибудь слышать, никто не был более туг на ухо, чем она.

Тем временем Жуайез, наклонившись к брату, шепнул:

– Скорей! Пока будут входить эти судейские, проскользни между ними – и бежим. Король согласился отпустить нас, но через пять минут может взять свое согласие назад.

– Благодарю, брат, – ответил молодой человек, – мне давно хотелось исчезнуть отсюда.

– Ну, вот показались вороны – исчезни, нежный соловушко.

И, проскользнув как тени за спинами членов совета, оба молодых человека скрылись за тяжелой портьерой. Когда король обернулся, их уже не было. Генрих III глубоко вздохнул и поцеловал свою собачку.

¹⁸ Гревская площадь – традиционное место казней в Париже.

V Казнь

Члены палаты стояли в глубине королевской ложи, молча ожидая, чтобы король с ними заговорил. Генрих III, заставив их с минуту прождать, обернулся в их сторону:

– Ну, что нового, господа? Здравствуйте, господин Бриссон.

– Государь, – отвечал тот с непринужденным достоинством, заслужившим при дворе прозвание «любезности гугенота», – мы пришли умолять ваше величество пощадить жизнь виновного. Он, без сомнения, может сделать некоторые разоблачения, и, пообещав даровать ему жизнь, мы их получим.

– Но ведь их и так уже получили? – заметил король.

– Получили только частично. Разве этого достаточно для вашего величества?

– Что я знаю – то знаю, мессир.

– В таком случае вашему величеству известно об участии Испании в этом деле?

– Испании? Да, и не ее одной, а и других держав.

– Констатировать это участие было бы крайне важно, ваше величество.

– Поэтому-то, – перебила его Екатерина, – король и намерен приостановить казнь, если виновный подпишет признание, вполне согласное с показаниями, данными им судье, перед которым его подвергали допросу под пыткой.

Бриссон обернулся к королю, вопрошая его жестом и взглядом.

– Да, да, таково мое намерение, и я не нахожу нужным его долее скрывать. Вы можете убедиться в этом, отдав приказание чиновнику судебного ведомства переговорить с осужденным.

– Это все, что вашему величеству угодно будет приказать?

– Все. Но пусть он не делает никаких изменений в своем признании, или я беру свое слово назад; признание должно быть всенародным и полным.

– С перечнем замешанных в этом деле лиц?

– Непременно.

– Даже если бы на этих лиц на основании показаний осужденного легло пятном обвинение в государственной измене?

– Даже если бы эти лица оказались моими ближайшими родственниками.

– Все будет исполнено согласно воле вашего величества.

– Повторяю вам еще раз, чего я требую, чтобы не произошло никаких недоразумений. Преступнику дадут перо и бумагу, и он напишет свое признание, показывая тем всенародно, что вверяет себя нашему милосердию. А там мы посмотрим.

– Но я могу обещать ему помилование?

– Да, да, отчего же, обещайте.

– Идемте, господа, – обратился председатель к членам палаты и, низко поклонившись королю, вышел вслед за ними.

– Он все скажет, государь, – прошептала королева Луиза, дрожа всем телом, – и вы его помилюете. Посмотрите – у него выступила на губах кровавая пена!

– Нет-нет, он все ищет кого-то глазами, – возразила Екатерина. – Но кого?

– Кого? – воскликнул Генрих. – Это нетрудно угадать: он ищет или герцога Пармского, или герцога Гиза, или, наконец, короля, моего брата! Что ж, ищи, ищи! Или ты думаешь, что Гревская площадь предоставляет более удобств для засады, чем фландрская дорога? Или что у меня не найдется здесь сто Бельевров, чтобы помешать тебе сойти с эшафота, на который возвел тебя один из них?

Сальсед видел, что стрелки пошли за лошадьми; видел и то, что председатель и члены палаты были в королевской ложе и затем удалились, — он понял: король отдал приказ начинать казнь. Тогда-то и показалась на его посиневших губах кровавая пена, замеченная молодой королевой. Несчастный, терзаясь мучительным ожиданием, искусал себе губы в кровь.

— Никого! Никого! — шептал он. — Ни одного из тех, кто мне обещал помощь! Подлые трусы! Трусы!

Таншон подошел между тем к эшафоту.

— Приготовьтесь, — сказал он палачу.

Палач сделал знак, и на противоположном конце площади показались лошади, перед которыми расступались людские волны. Продвигаясь вперед, они как бы бороздили бурливое море и на некоторое время оставляли за собой след, разгоняя вправо и влево всех, кто попадался на пути. Но раздвинутая ими стена зрителей снова смыкалась, причем первые оказывались последними, и наоборот.

В это самое время стоявший на углу улицы Ваннери уже знакомый нам молодой человек соскочил с тумбы, на которую взобрался, — его тащил за собой мальчик лет шестнадцати, видно страстно увлеченный ужасным зрелищем. То были виконт Эрнотон де Карменж и его таинственный паж.

— Скорее, скорее! — шептал паж своему спутнику. — Проскользните вперед, пока толпа не сомкнулась! Каждая минута дорога!

— Вы, кажется, с ума сошли, мой юный друг... Нас непременно задавят!

— Я хочу все видеть, и как можно ближе! — Повелительный тон явно был привычен для юноши.

Эрнотон повиновался.

— Ближе к лошадям! — настаивал паж. — Не отступайте от них ни на вершок, иначе мы не выберемся!

— Но прежде вас разорвут в клочки!

— Не беспокойтесь обо мне. Вперед, ради бога, вперед!

— Лошади могут лягнуть!

— Схватите за хвост последнюю — тогда ни одна лошадь не станет лягаться!

Поддаваясь невольно непонятному влиянию этого необыкновенного юноши, собственно полурепбенка, Эрнотон уцепился за хвост лошади, а паж крепко ухватил его за кожаный пояс. Продираясь сквозь толпу, волновавшуюся, как море, и цепкую, как частый кустарник, оставив здесь полу плаща, там — клочок камзола, дальше — кружевное жабо рубашки, они добрались одновременно с лошадьми до эшафота, где Сальсед терпел адские муки отчаяния.

— Мы пришли? — Юноша, почти задыхаясь, почувствовал, что Эрнотон остановился.

— Да, к счастью... я совершенно изнемогаю...

— Ничего не вижу.

— Встаньте передо мной.

— Нет, нет, еще не время. А что там делается?

— Вяжут узлы на веревках.

— А он что делает?

— Кто — он?

— Осужденный.

— Вращает во все стороны глазами, как ястреб, подкарауливающий добычу.

Лошади стояли так близко от эшафота, что подручные палача легко привязали к рукам и ногам Сальседа постромки, прикрепленные к лошадиным хомутам. Почувствовав грубое прикосновение к ногам веревок, привязанных затяжной петлей, Сальсед испустил дикое

рычание и последним, не поддающимся описанию взглядом окинул огромную площадь с сотней тысяч зрителей.

– Сударь, – вежливо сказал, подойдя к нему, Таншон, – не желаете ли вы говорить с народом, прежде чем мы начнем? – И, нагнувшись к самому уху осужденного, он прибавил: – Чистосердечное признание... ради спасения жизни!..

Сальсед пристально посмотрел на него, точно желая заглянуть в самую глубь его души, и взгляд его был, вероятно, настолько красноречив, что правда сама пошла ему навстречу и он прочел ее в глазах Таншона. Сальсед понял, что офицер искренен и исполнит, что обещал.

– Вы видите, – продолжал тот, – что покинуты и для вас в этом мире нет другой надежды, кроме той, которую я открываю перед вами.

– Ну, хорошо... – с хриплым вздохом проговорил Сальсед, – пусть угомонят толпу... Я согласен говорить.

– Король требует письменного признания с вашей подписью.

– Так развяжите мне руки и дайте перо. Я напишу.

– Ваше признание?

– Да, свое признание.

Таншону, бывшему вне себя от радости, стоило только дать знак: все было предусмотрено, один из стрелков держал все наготове. Он передал Таншону чернильницу, бумагу и перья, которые тот расположил на эшафоте. Одновременно ослабили веревку, которая обвивалась вокруг правой руки осужденного, и его самого приподняли на возвышение, чтобы он мог писать.

Сальсед несколько раз глубоко перевел дыхание и, получив возможность двигать рукой, отбросил со лба волосы и отер крупные капли пота на лице.

– Ну, ну, – поощрял его Таншон, – устраивайтесь поудобнее и пишите все, без утайки.

– Не беспокойтесь, – Сальсед протянул руку к перу. – Я не забуду тех, кто меня забыл. – И с этими словами бросил все же вокруг последний взгляд.

Без сомнения, настала минута пажу показаться, так как он порывисто схватил за руку Эрнотона.

– Ради бога, милостивый государь, возьмите меня на руки и поднимите над головами, а то я не вижу!

– Однако, молодой человек, вы ненасытны.

– Окажите мне еще эту услугу!

– Вы злоупотребляете мною.

– Я должен видеть преступника! Слышите – должен! – И, видя, что, несмотря ни на что, Эрнотон медлит, продолжал: – Сжальтесь! Умоляю вас!

Своенравный деспот молил в эту минуту о милости так горячо, что невозможно было не исполнить его просьбу. Эрнотон поднял его, несколько удивленный хрупкостью и нежностью телосложения юноши, и голова пажа оказалась над толпой.

Как раз в это мгновение Сальсед схватил перо, в последний раз обозревая площадь, увидел лицо юноши – и остолбенел. В эту минуту паж приложил к губам два пальца... Бесконечная радость осветила черты осужденного – сродни блаженству несправедливого богача, когда Лазарь смочил его пересохший язык каплями воды. Он узнал условный знак – столь нетерпеливо ожидаемый, обещавший ему помощь. Сальсед, отведя наконец глаза от лица пажа, схватил бумагу из рук Таншона – тот начинал уже тревожиться, видя колебания осужденного, – и принялся писать с лихорадочной поспешностью.

– Он пишет! – пронесся шепот.

– Он пишет! – повторила королева-мать с нескрываемой радостью.

– Он пишет! – воскликнул король. – Черт возьми! Я его помилую!

Вдруг Сальсед остановился и снова взглянул на загадочного пажа: условный знак повторился, и Сальсед продолжал писать. Вскоре он снова остановился и опять устремил взор на пажа, который усиленно повторял свои знаки, сопровождая их кивками головы.

– Вы кончили? – Таншон был всецело занят лежавшей перед Сальседом бумагой.

– Кончил, – ответил машинально Сальсед.

– В таком случае подпишитесь.

Сальсед подписался, не отрывая глаз от юноши. Таншон протянул руку к признанию.

– Королю, королю одному! – Сальсед передал офицеру бумагу как-то нерешительно, точно побежденный воин, отдающий свое последнее оружие.

– Если вы во всем чистосердечно сознались, господин Сальсед, то вы спасены, – сказал ему Таншон.

Ироническая и вместе с тем несколько озабоченная улыбка скользнула по губам осужденного – он жадно вопрошал взглядом своего таинственного собеседника.

Между тем Эрнотон, почувствовав утомление, решил опустить на землю свою неудобную ношу и разжал руки – паж соскользнул на землю. Вместе с ним скрылось видение, в котором черпал поддержку осужденный. Не видя его больше, Сальсед стал искать его глазами и вдруг крикнул с растерянным, полубезумным выражением лица:

– Ну что же?!

Никто не откликнулся.

– Скорей, скорей, король уже держит бумагу! – возопил Сальсед. – Он сейчас начнет читать!

Никто не двинулся с места. Тем временем король поспешно развертывал его признание.

– Тысяча демонов! – кричал Сальсед. – Или меня обманули?! Но я узнал ее! Это была она!

Король, прочтя первые же строки признания, пришел в ярость.

– Негодяй! – воскликнул он, побледнев от гнева.

– Что такое, сын мой? – забеспокоилась Екатерина.

– А то, что он отрекается от своих показаний и заявляет, что ни в чем никогда не сознавался.

– А еще что он пишет?

– Заявляет о полной невиновности господ Гизов и о непричастности ко всем заговорам!

– А может быть, это и правда? – пробормотала Екатерина.

– Он лжет! – воскликнул король. – Лжет, как язычник!

– А почему вы знаете? Их и в самом деле могли оклеветать. В своем чрезмерном рвении судьи, быть может, ложно истолковали показания.

– Э, государыня! – воскликнул Генрих, не в силах дольше сдерживаться. – Я все слышал.

– Вы, сын мой?!

– Я.

– Когда же?

– Когда его пытали. Я был за портьерой и не пропустил ни одного его слова. Каждое слово врезалось мне в память, точно кто вбивал его мне в голову молотком.

– В таком случае заставьте его опять заговорить под пыткой, раз она необходима. Прикажите пустить лошадей.

Генрих под влиянием охватившего его гнева поднял руку. Таншон повторил сигнал. Веревки были уже снова прикреплены к рукам и ногам преступника. Четверо вскочили на лошадей, четыре удара кнута – и четверка лошадей рванулась в разные стороны. Страшный треск и душераздирающий крик слышались с эшафота. Члены несчастного Сальседа

посинели, натянулись, налились кровью; на лицо его было страшно взглянуть – это было не человеческое лицо, а лицо демона...

– Измена, измена! – закричал он. – Хорошо же! Я хочу говорить, я все скажу! А, проклятая гер... – Голос его покрывал громкое ржание лошадей и шум толпы – и вдруг разом оборвался.

– Остановите, остановите! – крикнула Екатерина.

Но уже было поздно: голова Сальседа, за минуту до того судорожно вздернутая кверху от боли и бешенства, упала на доски эшафота.

– Дайте ему говорить! – изо всех сил крикнула королева-мать. – Остановите! Остановите же!

Глаза Сальседа, неестественно выпученные, остановившиеся, упорно глядели в ту сторону, где он недавно видел паж...

Таншон проследил за направлением его взгляда. Но говорить Сальсед не мог – он был мертв. Таншон тихо приказал что-то своим стрелкам, которые стали кого-то искать в толпе, по направлению, указываемому изобличающим взглядом мертвого Сальседа.

– Меня узнали! – шепнул паж на ухо Эрнотону. – Ради бога, спасите меня! Они идут, идут!

– Чего же вы еще хотите?

– Бежать! Разве не видите – они ищут меня?!

– Да кто же вы, наконец?

– Я женщина!.. Спасите меня! Защитите!

Эрнотон побледнел, но великодушие победило в нем чувство изумления и страха. Он поставил пажа перед собой и, прокладывая себе дорогу рукояткой шпаги, толкнул его к открытой двери дома на углу улицы Мутон. Паж стремительно бросился в эту дверь – и та немедленно захлопнулась, словно только и ждала его появления. Эрнотон не успел спросить ни имени, ничего... Но, исчезая за дверью, паж, как бы угадывая его мысль, сделал знак, казалось многообещающий...

Почувствовав себя наконец свободным, Эрнотон обернулся к середине площади и окинул одним взглядом эшафот и королевскую ложу. Сальсед лежал, весь синий и неподвижный, на эшафоте. Екатерина стояла, мертвенно-бледная, дрожа от гнева, в королевской ложе.

– Сын мой, – она отерла выступившие у нее на лбу капли пота, – вы хорошо сделаете, если смените палача: этот – сторонник Лиги.

– А из чего вы это заключили, матушка?

– Посмотрите, посмотрите сами!

– Я смотрю.

– Сальседа лошади растянули в один прием – и он кончился.

– Это оттого, что он не мог вынести страданий, он слишком к ним чувствителен.

– Совсем нет. – Улыбку глубокого презрения вызвал у Екатерины такой недостаток проницательности. – Его задушили из-под эшафота бечевкой в ту минуту, когда он собирался выдать тех, кто оставлял его умирать. Прикажите какому-нибудь ученому врачу осмотреть труп – я уверена, что на шее окажутся следы веревки.

– Вы правы, – молвил Генрих, и взгляд его сверкнул мгновенной молнией. – Мой кузен герцог Гиз имеет более верных слуг, чем я.

– Тсс! – прошипела Екатерина. – Не надо огласки! Над вами будут смеяться. Но на этот раз наша партия проиграна!

– Жуайез хорошо сделал, что отправился искать веселья в другое место, – заключил король. – На этом свете нельзя ни на что рассчитывать, даже на казнь. Едемте, матушка, едемте, государыня!

VI Братья Жуайез

Господа Жуайезы, как мы видели, скрылись из королевской ложи; они вышли из ратуши другим ходом и, оставив возле королевских экипажей лошадей и слуг, отправились пешком по улицам людного квартала, в тот день пустым – Гревская площадь привлекла неисчислимое множество народу.

Братья шли рука об руку, молча. Генрих, прежде отличавшийся веселостью, казался теперь озабоченным и даже почти мрачным. Анн был, по-видимому, встревожен и смущен безмолвием брата. Он первый решил прервать молчание:

– Ну, Генрих, куда ты меня ведешь?

– Я не веду вас, Анн, а просто иду куда глаза глядят. – Генрих точно пробудился ото сна. – Мне совершенно все равно, куда идти.

– Однако ты ведь куда-то удаляешься каждый вечер? Выходишь из дому в определенный час и возвращаешься довольно поздно ночью, а иногда и совсем не ночуешь дома.

– Вы меня допрашиваете? – Чарующая кротость соединялась у Генриха с некоторой почтительностью по отношению к старшему брату.

– Допрашиваю? Избави меня Бог! Пусть тайны остаются собственностью тех, кто хранит их.

– Стоит вам пожелать, – отвечал Генрих, – и у меня не будет никаких тайн от вас, моего руководителя и друга.

– А я, признаться, полагал, у тебя есть тайны от меня, грешного мирянина. А наш ученый брат, этот столп богословия, светоч религии, сведущий придворный толкователь разных вопросов совести и будущий кардинал, один пользуется твоим доверием, и ты находишь в нем духовника, дающего тебе разрешение от грехов и, как знать, может быть, даже советы... Ведь ты знаешь, в нашей семье мы на все способны, чему примером может служить наш любезный родитель, – добавил он со смехом.

Генрих схватил руку брата и с чувством пожал.

– Вы для меня больше чем наставник, духовник и даже отец, Анн. Повторяю вам, что вы для меня друг.

– Если так, то скажи мне, почему из прежнего веселого малого ты на моих глазах становишься все более грустным? И почему, вместо того чтобы выходить днем, ты с некоторых пор выходишь только ночью?

– Я не грустен, – ответил, улыбаясь, Генрих.

– Так что же с тобой?

– Я влюблен.

– Прекрасно. Но откуда же эта озабоченность?

– Оттого, что я постоянно думаю о своей любви.

– И вздыхаешь?

– Да.

– Ты вздыхаешь?... Ты, граф дю Бушаж, брат Жуайеза, ты, кого злые языки называют третьим королем Франции, – ведь тебе известно, что второй, если не первый, король – господин де Гиз. Ты, при твоём богатстве и красоте, имея впереди титулы пэра Франции и герцога, которые уже ношу я и при первом же случае оставлю тебе... Ты влюблен и вздыхаешь, хотя взял своим девизом «Hilariter!»¹⁹.

¹⁹ «Радостно!» (лат.) Жуайез означает «радостный». – Здесь и далее примеч. ред.

– Все эти дары судьбы и будущие надежды я никогда не считал необходимыми для своего счастья условиями. Я не честлюбив.

– Скажи лучше, что ты перестал быть честлюбивым.

– Или, по крайней мере, не гонюсь за теми благами, о которых вы говорите... Мне ничего не надо, и я ничего не хочу.

– Напрасно: когда носишь имя Жуайез, одно из первых имен Франции, имеешь брата в ранге фаворита, – можешь желать всего и получить все.

Генрих уныло покачал белокурой головой.

– Послушай, – продолжал Анн, – ты видишь: мы здесь одни, в отдаленном и глухом уголке Парижа. Мы перешли реку и незаметно подошли к мосту Латурнель. Не думаю, чтобы в такую погоду, на этой безлюдной набережной нашлись охотники нас подслушивать. Имеешь ли ты сообщить мне что-нибудь важное?

– Ровно ничего, кроме того, что я влюблен, а это вы уже знаете.

– Я не о подобном вздоре тебя спрашиваю, – перебил его Анн, топнув с досадой ногой. – Я тоже, клянусь Папой, влюблен!

– Но не так, как я, брат мой.

– И тоже думаю иногда о своей возлюбленной.

– Да, но не постоянно.

– И у меня бывают тут не только неприятности – даже что-нибудь посерьезнее.

– Может быть... Но у вас есть и радости, ибо вы любимы.

– А сколько препятствий приходится преодолевать! От меня требуют соблюдения глубокой тайны!

– «Требуют», говорите вы. Если возлюбленная чего-нибудь требует – она ваша!

– Конечно, то есть моя... и господина де Майена. Откровенность за откровенность: должен тебе сказать, что моя возлюбленная – любовница этого развратника Майена; она без ума от меня и тотчас бросила бы его, если бы не боялась, что он ее убьет: тебе ведь известно, таково его обыкновение. К тому же я ненавижу Гизов, и меня забавляет... позабавиться на счет одного из них. Итак, повторяю тебе, и у меня часто возникают ссоры, недоразумения и всякого рода неприятности, но от этого я не становлюсь монахом, не лью потоки слез, а продолжаю смеяться... ну хотя бы иногда. Скажи же мне: кого ты любишь и хороша ли твоя любовница?

– Увы, она не моя любовница... но очень хороша собой.

– Как же ее зовут?

– Не знаю.

– Вот прекрасно!

– Клянусь честью!

– Знаешь, мой друг, я начинаю думать, что все это гораздо опаснее, чем я предполагал. Тут уже не грусть, а прямо сумасшествие!

– Она только раз говорила со мной или, вернее, говорила в моем присутствии, и с той поры я не слышал даже ее голоса.

– И ты ни у кого не осведомлялся о том, кто она?

– Да у кого же?

– Как «у кого»?.. У соседей, к примеру.

– Она занимает одна целый дом, и никто ее не знает.

– Но ведь не тень же она, наконец!..

– Нет, женщина – прекрасная, как богиня, сосредоточенная и строгая, как архангел.

– Где же ты с ней встретился?

– Как-то раз я следовал за приглянувшейся мне молоденькой девушкой по одной глухой улице и вошел за ней в сад при церкви. Там под деревьями стояла скамейка. Уже темнело, и я

скоро потерял из виду девушку, но, разыскивая ее, набрел на эту скамейку... Мне показалось, что возле нее виднеется фигура в женском платье, и я протянул в том направлении руку... Но в эту минуту услышал мужской голос, обращавшийся ко мне. «Простите, милостивый государь», – произнес какой-то мужчина, не замеченный мной, и при этом осторожно, но твердо отстранил меня.

– Как! Он осмелился до тебя дотронуться?..

– Слушайте: во-первых, я его принял за монаха, потому что голову и лицо его закрывал какой-то не то клобук, не то капюшон. Потом меня поразил необыкновенно приветливый и вежливый тон предостережения. А причину его я тотчас понял: произнося эти слова, он указал мне на женщину в белом платье – чем и привлекла она мое внимание, – стоявшую на коленях перед скамейкой, как перед алтарем. Невольно я остановился... Это приключение случилось со мной в начале сентября. В теплом вечернем воздухе носился аромат фиалок и роз, посаженных любящими руками на могилах в церковной ограде. Луна слабо светила сквозь набежавшее на нее белое облачко и серебрила верхушки церковных окон, между тем как красноватый отблеск свечей горел на нижней их части. Ах, друг мой! Не знаю, благодаря ли величию этого места или достоинству, с каким держалась незнакомка, но эта коленопреклоненная женщина предстала мне среди окружающего мрака облитой каким-то сиянием – чудная мраморная статуя, а не живая женщина. Она склонилась к скамье, обхватила ее обеими руками, прильнула к ней губами, и я видел, как сотрясаются ее плечи от рыданий и тяжелых вздохов. Вам, наверно, никогда не приходилось слышать таких стонов – будто острое железо раздирало ей сердце и душу. Заливаясь слезами, она целовала холодный камень с такой страстью, что я почувствовал себя погибшим. Слезы ее глубоко меня тронули, поцелуи свели с ума.

– Нет, сумасшедшая-то она! – воскликнул Жуайез. – Кто так целует камень да еще с беспричинными рыданиями?

– Великая скорбь заставляла ее рыдать, и глубокая любовь побуждала целовать камень. Одного только я не знал: кого она любит, кого оплакивает?

– Ты бы спросил у ее спутника.

– Спрашивал.

– И что же он тебе ответил?

– Что она потеряла мужа.

– Вот так ответ! Да разве мужей так оплакивают? И ты этим удовольствовался?

– Поневоле, раз он не хотел мне дать другого ответа.

– А этот человек-то кто такой?

– Нечто вроде слуги, живет вместе с ней.

– А имя его?

– Он отказался назвать мне его.

– Он молод или стар?

– Ему можно было дать лет тридцать.

– Ну а потом что же было? Не всю же ночь она молилась и плакала?

– Нет... Когда она перестала плакать, выплавав все слезы, и губы ее устали прижиматься к жесткой скамье, она поднялась. Эту женщину окружал ореол... таинственности и скорби, и поэтому, вместо того чтобы пойти к ней навстречу, как я поступил бы со всякой другой, я сделал шаг назад. Она сама пошла ко мне или, вернее, в мою сторону – она-то меня не видела. В эту минуту лунный свет упал на ее лицо – и оно предстало мне каким-то лучезарным, неземным... Черты ее снова приняли строгое, замкнутое выражение и словно окаменели: о только что пролитых слезах говорил лишь оставшийся влажный след. Глаза дивно сияли, а слегка раскрытые уста словно впивали в себя жизнь, минутами, казалось, готовую ее покинуть. Она сделала несколько шагов неуверенной поступью, точно лунатик.

К ней подбежал ее спутник и повел ее, – она, казалось, даже не сознавала, что ступает по земле. Но боже мой! Любезный друг, какая неотразимая красота! Какое неземное обаяние! Никогда не видел на земле ничего подобного, разве во сне, в грезах, когда меня посещали небесные видения.

– Дальше, дальше, Генрих! – Анн помимо воли заинтересовался рассказом брата, хотя сначала настроился посмеяться.

– Я подхожу уже к концу. Загадочный слуга сказал ей что-то на ухо, – вероятно, что тут посторонний, но она даже не взглянула на меня и только опустила на лицо вуаль, так что я не мог ее больше видеть. В эту минуту мне показалось, что на небе сразу потемнело и передо мной скользит не живое существо, а тень, вышедшая из соседней могилы. Она вышла за ограду, и я последовал за ней. Время от времени сопровождавший ее оглядывался – он, конечно, видел меня, потому что хотя я и был в каком-то тумане, но не думал прятаться. И что удивительного? Мой ум был еще тогда слишком поработан грубыми, прежними привычками, а в сердце бродила прежняя, пошлая закваска.

– Что ты хочешь этим сказать, Генрих? Я тебя не понимаю.

– Что я бурно провел молодость, много раз любил – или воображал, что люблю, – и видел до того дня во всех женщинах... просто женщин, которым мог предложить то, что называл любовью.

– А она-то кто же? – воскликнул Жуайез, пытаясь снова принять веселый тон, с которого его несколько сбило признание брата. – Берегись, Генрих, ты, кажется, начинаешь заговариваться... Или она не обыкновенная, созданная из плоти и крови женщина?

– Брат, – прошептал, лихорадочно сжимая руку Жуайеза, молодой человек так тихо, что Анн едва уловил его слова, – я и теперь, как перед Богом, сам не знаю – земное ли она существо или неземное.

– Клянусь Папой! Ты, чего доброго, напугал бы меня, если бы Жуайезы боялись. Она ходит, плачет, знает, что такое поцелуй... Ты сам это сказал, а, на мой взгляд, все это много обещает. Но продолжай... Что же дальше?

– Дальше – очень мало. Я пошел за ней, но она и не думала прятаться от меня или нарочно запутать, водя по улицам.

– Где же она живет?

– Недалеко от Бастилии, на улице Ледигьер. Дойдя до ворот дома, спутник ее еще раз обернулся и увидел меня.

– Ты, конечно, сделал ему какой-нибудь знак, дал понять, что хочешь с ним говорить?

– Представь себе, я не посмел... Это, может быть, смешно, но слуга внушал мне такое же почтение, как госпожа.

– Ну, все равно. Ты вошел в дом?

– Нет, брат.

– Право, Генрих, не узнаю в тебе Жуайеза. Но ты хоть вернулся туда на следующий день?

– Вернулся, но без всякого результата... Побывал и в церковной ограде, где встретил ее, и на улице Ледигьер: исчезла, улетела, как тень.

– Обращался ты к кому-нибудь, справлялся?

– На этой улице очень мало жителей, и никто не мог мне ничего сообщить. Я стал тогда подкарауливать ее спутника, но ни он, ни таинственная незнакомка больше не показывались; единственное, что утешало меня, – свет, пробивавшийся по вечерам через деревянные ставни: стало быть, она все еще здесь...

– Однако в конце концов ты все же нашел свою прекрасную дикарку?

– Да, мне помог случай, или, вернее, Провидение сжалилось надо мной. Это в самом деле удивительно... Недели две назад проходил я в полночь по улице Бюсси. Вы, конечно,

знаете, как строго соблюдается горожанами правило тушить огни в указанный час. И что же? Представьте себе – вижу в окнах одного дома не свет, а яркое пламя пожара. Разумеется, стучу изо всей силы в дверь – у окна второго этажа показывается какой-то человек.

«У вас пожар!» – кричу ему. «Знаю, – отвечает, – но, ради бога, молчите! Я как раз стараюсь потушить!» – «Позвать ночную стражу?» – «Нет, нет, умоляю вас, не зовите никого!» – «Но ведь надо же вам помочь?» – «Если вы свободны – войдите: вы мне этим окажете услугу, за которую я буду вам благодарен всю жизнь!» – «А как же я войду?» – «Вот вам ключ!» И бросил его из окна.

Взбегаю наверх и попадаю в комнату, где горит пол... Лаборатория химика! Производя какой-то опыт, хозяин пролил на пол легковоспламеняющуюся жидкость, и возник пожар.

Когда я пришел, он уже справился с огнем, и я мог рассмотреть, с кем имею дело. Это был человек лет тридцати; огромный шрам обезобразил его правую щеку, другой шрам пересекал лоб и череп, густая борода скрывала остальную часть лица.

«Благодарю вас, милостивый государь, – встретил он меня, – но, как видите, опасность миновала. И потому, если вы, как указывает ваша внешность, благородный и порядочный человек, то, будьте добры, уходите! Госпожа моя может войти сюда и будет разгневана присутствием постороннего в ее доме». Звук его голоса поразил меня – ужас приковал к месту. Я уже готов был крикнуть ему: «Вы жили на улице Ледигьер, вы были с той таинственной дамой!» Вы ведь помните, что его лицо было скрыто под капюшоном и я слышал только его голос.

Итак, я собирался сказать ему это, осыпать градом вопросов, умолять, как вдруг открылась дверь и вошла женщина. «Что случилось, Реми? – Она величественно остановилась у порога. – Что тут за шум?» О брат мой! То была она – еще более прекрасная при умирающем пламени пожара, чем тогда, озаренная лунным светом. Та самая женщина, воспоминание о которой не покидало меня ни днем ни ночью!

Вырвавшийся у меня крик заставил слугу внимательно взглянуть на меня. «Благодарю вас, – повторил он еще раз, – но вы теперь сами видите, что огонь потушен... Уходите же! Умоляю вас, уходите!» – «Друг мой, – заметил я, – вы очень жестоко выпроваживаете меня». – «Сударыня, – обратился он к своей госпоже, – это он». – «Кто он?» – спросила она. «Тот молодой человек, которого мы встретили в церковном саду, откуда он проводил нас до самого дома». Она остановила на мне свой взгляд, и он заставил меня понять, что она меня видит в первый раз. «Милостивый государь, – промолвила она, – прошу вас, удалитесь». Я колебался, хотел было заговорить, просить... Но ни одно слово не сорвалось с моих губ, я неподвижно и безмолвно любовался ею.

«Неужели, – продолжал слуга, скорее грустным, чем строгим голосом, – вы заставите эту даму вторично бежать?» – «Сохрани Бог, – ответил я с почтительным поклоном. – Верьте, что я ни за что на свете не желал бы вас оскорбить».

Она ничего не отвечала и молча, равнодушно и холодно повернулась и, будто даже не поняв моих слов, стала спускаться неслышными шагами, как призрак, по лестнице, пока не скрылась во мраке.

– И все этим кончилось? – спросил Жуайез.

– Да. Слуга проводил меня на улицу, не переставая твердить: «Забудьте! Умоляю вас именем Бога – забудьте!» Я убежал, совершенно ошеломленный, в каком-то тумане, спрашивая себя, не схожу ли я с ума. С того дня я каждый вечер на той улице, и вот почему из ратуши я бессознательно направил шаги туда. Итак, каждый вечер я становлюсь у дома напротив, под маленьким балконом, прячась в тени. Один раз из десяти мне удастся видеть свет в ее комнате... В этом теперь вся моя жизнь, все мое счастье!

– Это счастье?! – воскликнул Жуайез.

– Я лишусь и его, если буду домогаться другого...

- Но ведь ты сам себя губишь этой самоотверженной покорностью!
- Что делать! Зато я чувствую себя счастливым.
- Не верю, это невозможно!
- Почему? Счастье – вещь относительная... Я знаю, что она здесь, что она здесь живет, дышит одним со мной воздухом. Я вижу ее, или, вернее, мне представляется, что ее вижу сквозь эти стены. Если бы она покинула этот дом и мне пришлось бы снова пережить такие же две недели, как тогда, когда я потерял ее из виду, – я или сошел бы с ума, или постригся в монахи.
- Ну нет, черт возьми! Довольно с нас одного монаха и одного сумасшедшего в семье.
- Пожалуйста, Анн, без упреков и насмешек – то и другое равно бесполезно.
- Я и не думаю ни насмехаться, ни упрекать. Позволь мне только сказать тебе, что ты взялся за дело, как неопытный новичок, как школьник.
- Да не строил я никаких расчетов и комбинаций и вовсе не «брался за дело», а отдался чему-то, что выше моих сил. Когда человека уносит течением – не лучше ли покориться ему, чем бороться с ним?
- А если оно несет тебя в пропасть?
- Надо упасть в нее и погибнуть.
- Таково твое мнение?
- Да.
- Я держусь совсем другого мнения, и будь я на твоем месте...
- Что сделали бы вы?
- Во-первых, я знал бы ее имя, возраст... На твоем месте...
- Перестаньте, Анн, прошу вас! Вы ее не знаете.
- Нет, но я знаю тебя. Как, Генрих?! Ты располагал пятьюдесятью тысячами экю из тех ста тысяч, которые мне подарил на свои именины король...
- Они и теперь все целы, лежат в моей шкатулке.
- Тем хуже: не лежи они в шкатулке, эта женщина давным-давно была бы в твоих объятиях.
- О, Анн!
- Да нечего возмущаться! Обыкновенного слугу можно купить за десять экю, хорошего – за сто, отличного – за тысячу, а несравненного – за три. Предположим, что мы имеем дело с идеальнейшим слугой; представим себе олицетворение преданности – и, клянусь Папой, за двадцать тысяч он будет твой! Следовательно, у тебя осталось бы еще сто тридцать тысяч ливров, чтобы оплатить любовь идеальнейшей из женщин, отданной тебе в руки идеальнейшим из слуг. Генрих, друг мой, ты слишком прост.
- Анн, – отвечал со вздохом Генрих, – есть люди, которых нельзя купить, и есть сердца, купить которые не в состоянии сам король.
- Это верно, но зато нет и таких, которые не отдавались бы сами.
- Это другое дело.
- А что же ты сделал для того, чтобы тебе отдалось сердце этой холодной красавицы?
- По моим убеждениям – все, что мог.
- Перестань, пожалуйста, ты с ума сошел! Ты встречаешь женщину, которая грустна, тоскует, живет отшельницей, – и сам становишься в еще большей степени грустным, тоскующим отшельником, то есть, иначе сказать, еще более скучным, чем она сама. Что может быть зауряднее? Она одинока, говоришь ты? Подари ее своим обществом... Она грустит? Развесели ее. Она скорбит о какой-то утрате – утешь ее и стань заместителем оплакиваемого.
- Это невозможно.
- А разве ты пробовал?
- К чему?

- Да хотя бы... чтобы попробовать. Ты влюблен, говоришь ты?
- Я не нахожу слов для выражения силы моей любви.
- Прекрасно! Через две недели она будет твоей. В котором часу ты ее обыкновенно видишь?
- Я уже вам говорил, что вовсе ее не вижу.
- Как! Даже у окна?
- Никогда, даже промелькнувшей ее тени.
- Этому необходимо положить конец. Есть у нее любовник?
- Я ни разу не видел, чтобы хоть один мужчина входил в ее дом, за исключением того Реми, о котором говорил.
- А каков этот дом снаружи?
- Двухэтажный, с маленькой входной дверью, с одной ступенькой и с балконом на втором этаже.
- А можно проникнуть на этот балкон?
- Дом стоит особняком.
- А что находится напротив него?
- Дом, очень сходный с ним, но, кажется, пониже.
- Кто в нем живет?
- Какой-то горожанин среднего класса, – по-видимому, очень веселого нрава: мне иногда приходилось слышать, что он смеется наедине сам с собой.
- Купи у него дом.
- А кто тебе сказал, что дом продается?
- Предложи хозяину двойную стоимость.
- А если она меня увидит?
- Так что же из этого?
- Она опять исчезнет... А прячась от ее взоров, я сохраняю надежду, что когда-нибудь увижу ее вновь.
- Даю тебе слово, что ты увидишь ее сегодня же вечером. Становись в восемь часов на свое обычное место, под балкон. Кстати, скажи мне точный адрес.
- Между воротами Бюсси и дворцом Сен-Дени, на углу улицы Святого Августина, в двадцати шагах от большой гостиницы под вывеской «Шпага гордого рыцаря».
- Отлично. Итак, до вечера, в восемь часов.
- Но что вы собираетесь делать?
- Увидишь и услышишь... А пока ступай домой, нарядись в лучшее платье, надень на себя самые богатые твои драгоценности, надушишься самыми дорогими духами: сегодня вечером ты вступишь в крепость.
- Услышь вас Бог, Анн!
- Когда нам не внимлет Бог, к нашим мольбам не останется глух дьявол! Прощай! Меня давно ждет моя любовница или, вернее, любовница господина де Майена. Эта хоть, по крайней мере, не ломается.
- Брат!
- Прости, верный рыцарь своей дамы... Я, право, и не думал сравнивать их, хотя, судя по всему, что я от тебя слышал, предпочитаю свою даму, или, вернее, нашу с Майеном. Но она меня ждет, и я не хочу ее заставлять ждать. Прощай, до вечера.
- До вечера, Анн.
- Братья пожали друг другу руки и расстались. Первый, пройдя шагов двести, смело и громко стукнул молотком в дверь роскошного, готической постройки дома близ собора Парижской Богоматери. Второй молча углубился в одну из боковых извилистых улиц.

VII

«Шпага гордого рыцаря» взяла верх над «Розовым кустом любви»

Пока происходил вышеупомянутый разговор, наступила ночь, окутавшая своим туманным покровом еще за два часа перед тем оживленную и шумную столицу. К тому же, после того как Сальсед покончил счеты с жизнью, зрители стали подумывать о возвращении домой, и в этот час по улицам кое-где двигались кучки народу, сменившие поток любопытных, без перерыва стремившийся утром со всех окраин города к одному и тому же пункту. Даже в самых отдаленных от Гревской площади кварталах еще ощущались слабые признаки волнения, легко объяснимого продолжительным нервным возбуждением, царившим в центре города.

Так, например, около ворот Бюсси, куда мы теперь перенесемся, чтобы следовать за некоторыми из действующих лиц, представленных читателю в начале этого рассказа, и познакомиться с новыми, – даже на этой окраине, повторяем, из одного выкрашенного в розовую краску дома, гостиницы под вывеской «Шпага гордого рыцаря», доносился громкий гул, напоминавший гудение пчелиного роя при солнечном закате.

Эта гостиница, занимавшая огромное здание, открылась совсем недавно. В то время в Париже не было ни одной гостиницы без какого-нибудь звучного, воинственного названия. «Шпага гордого рыцаря» – чем не приманка, предназначенная примирить все вкусы и привлечь симпатии всех.

На фронте дома было изображено сражение архангела (или какого-то святого) с драконом, извергавшим, подобно коням Ипполита²⁰, пламя из ноздрей. Художник, воодушевленный геройским и вместе благочестивым чувством, вместо шпаги вложил в руку гордого, с головы до ног вооруженного рыцаря огромный крест, которым тот лучше, чем самым острым клинком, разрубал надвое злополучного дракона, усеяв землю окровавленными частями его тела. Далее, на заднем плане вывески, или, вернее, картины – ибо это замечательное произведение вполне заслуживало такого названия, множество зрителей воздевали вверх руки, между тем как в небесах ангелы венчали лаврами и пальмовыми ветвями голову гордого рыцаря в шлеме. Наконец, на первом плане художник, желая, вероятно, доказать свое искусство в другом жанре, изобразил несколько тыков, виноградные гроздья, жуков, ящериц, улитку, сидящую на розе, и двух кроликов, белого и серого, которые, несмотря на различие в цвете шкурки, что могло бы указывать и на различие во вкусах и взглядах, оба почесывали носы, вероятно, в знак радости по случаю достопамятной победы, одержанной гордым рыцарем над символическим драконом, олицетворявшим самого сатану.

Обладателю этой вывески оставалось быть довольным добросовестностью живописца. Художник ведь не оставил свободным ни пяди свободного пространства, даже для клеща, например, не нашлось бы места.

А теперь, как ни тяжело, надо сознаться, по долгу совести правдивого историка, что в кабачке никогда не было так тесно, как на этой великолепной вывеске, по причинам, которые мы скоро объясним. В гостинице «Шпага гордого рыцаря» не только иногда, но почти всегда была пустота. А между тем дом был выстроен на славу и, употребляя современное выражение, с редким комфортом. Покоясь на широком фундаменте, он горделиво вздымал к небу четыре башенки, вмещавшие каждая восьмиугольную комнату. Все это, правда, было из

²⁰ ...подобно коням Ипполита... – Ипполит – персонаж греческой мифологии, герой, сын Тезея. Отклонив любовь своей мачехи Федры, он был оклеветан ею перед отцом. Будучи проклят им, он упал с колесницы, несшейся на полном скаку по берегу, и был проташен конями по земле. Коней же испугало посланное по просьбе Тезея морское чудовище.

дерева, но зато дом отличался кокетливым, несколько таинственным видом, как и подобало строению, имеющему претензию нравиться мужчинам и, главное, женщинам. Но в том-то и корень бед: нельзя угодить сразу всем.

Однако хозяйка «Шпаги гордого рыцаря», госпожа Фурнишон, думала по-другому и, руководствуясь своими личными убеждениями, уговорила мужа оставить бани, которые он держал, кое-как перебиваясь, на углу улицы Сент-Оноре, и заняться вертелами и разливкой вина для влюбленных парочек, живущих по соседству с воротами Бюсси и в более отдаленных кварталах. К несчастью госпожи Фурнишон, строившей эти планы, гостиница была слишком близко от Пре-о-Клер²¹, и потому ее посещало столько буйных, готовых всегда вступить в драку гостей, что другие, менее воинственные, бежали от злополучного пристанища, как от чумы, опасаясь вечного шума и бряцания оружием. Влюбленные вообще народ смирный, не любят никаких беспокойств; вот и пришлось поневоле помещать в кокетливых башенках разных воинственных господ. В результате все нарисованные тем же художником амуры на стенах получили различные украшения вроде усов и других более или менее приличных добавлений, сделанных углем.

Все это давало повод госпоже Фурнишон утверждать, и не без основания, что вывеска принесла заведению несчастье. Если бы положились на ее опытность и вместо «гордого рыцаря» с этим отталкивающим гостей драконом нарисовали что-нибудь почувствительнее (например, розовый куст с пылающими сердцами вместо цветов), то многие нежные сердца, без сомнения, избрали бы ее гостиницу своим пристанищем.

Господин Фурнишон же, не желая сознаться, что раскаивается в своей идее и в том влиянии, которое она оказала на вывеску, не обращал внимания на мнение супруги, а только отвечал, пожимая плечами, что ему, бывшему военному, естественно искать посетителей для своей гостиницы среди этого сословия. И прибавлял, что всякий солдат, у которого только и дум в голове что о вине, выпьет столько, сколько по крайней мере шестеро влюбленных. Пусть он заплатит хоть за половину съеденного и выпитого – все же хозяин будет в выгоде: самые щедрые влюбленные никогда не заплатят столько, сколько трое военных. И заключал, наконец, что вино нравственнее, чем любовь. Такой вот раскол произошел между супругами Фурнишон, которые и на новом месте перебивались, как и раньше на улице Сент-Оноре, когда одно непредвиденное обстоятельство изменило положение дел и дало восторжествовать убеждениям госпожи Фурнишон, к вящей славе великолепной вывески, где все царства природы имели своего представителя.

За месяц до казни Сальседа, по окончании военных учений на Пре-о-Клер, супруги Фурнишон сидели, по своему обыкновению, каждый у окна одной из угловых башенок, оба без дела и погруженные в печальные раздумья вследствие того, что все столы и все комнаты в гостинице «Шпага гордого рыцаря» пустовали. В тот день «Розовый куст любви» не дал ни одной розы и «Шпага гордого рыцаря» не насчитывала ни одной жертвы.

Итак, супруги печально смотрели на луг и на покидавших его солдат: те грузились под наблюдением производившего учение капитана на паром, чтобы возвратиться в Лувр. Наблюдая за этой картиной и горько сетуя на военную дисциплину, заставлявшую солдат возвращаться прямо с учения в казармы, – хотя они, без сомнения, испытывали сильную жажду, – супруги увидели, что капитан пустил лошадь рысью и направился в сопровождении ординарца к воротам Бюсси. Минут через десять этот офицер, с плюмажем на каске, в великолепном плаще из фландрского сукна, из-под которого виднелась шпага в зеленых ножнах, поравнялся с гостиницей, горделиво гарцуя на белом коне. Ехал он, однако, не в гостиницу и миновал бы ее, даже не полюбовавшись на вывеску и сохраняя озабоченный и

²¹ Пре-о-Клер – место в старом Париже на левом берегу Сены, у стен знаменитого монастыря Сен-Жермен-де-Пре. Любимое место прогулок парижан и дуэлянтов. Ныне от монастыря остался только собор.

занятой вид. Но в эту минуту Фурнишон, у которого сжималось сердце при мысли, что ему ничего не удастся заработать сегодня, высунулся из башенки со словами:

– Посмотри-ка, жена, какой красивый конь!

На что госпожа Фурнишон, как расторопная и ловкая особа, тотчас же подала мужу реплику:

– А всадник-то какой изящный!

Капитан, по-видимому, не был равнодушен к похвалам, откуда бы они ни исходили, – он поднял голову, точно разом очнувшись от сна, увидел хозяев и гостиницу, остановил лошадь и подозвал ординарца. Затем, не сходя с коня, принялся внимательно изучать дом и всю местность. Тем временем Фурнишон, прыгая через четыре ступеньки, спустился по лестнице вниз и уже стоял на крыльце, держа в руках колпак. Капитан после нескольких секунд раздумья сошел с лошади.

– Здесь у вас нет никого? – спросил он.

– В настоящее время никого, – признался сконфуженным тоном хозяин и хотел было прибавить, что это не в обычае его гостиницы.

Но госпожа Фурнишон, как большинство женщин, была гораздо проницательнее мужа и потому поспешила крикнуть из своего окна:

– Если господин офицер ищет уединения, он найдет у нас все удобства.

Капитан поднял голову и, увидев приятное лицо после такого приятного сообщения, подтвердил:

– В данное время я именно этого и ищу.

Тогда госпожа Фурнишон бросилась со всех ног навстречу гостю. «На этот раз, – говорила она себе, – нам доставит первый заработок “Розовый куст любви”, а не “Шпага гордого рыцаря”».

Капитан, привлекий в эту минуту все внимание супругов, имеет право и на внимание читателя. В свои тридцать пять лет он казался гораздо моложе, так как привык следить за собой и заботиться о своей внешности. Высокий, хорошо сложенный, с лицом выразительным и умным, он отличался величественной осанкой. При более внимательном взгляде можно было бы, пожалуй, заметить некоторую неестественность этой осанки.

Он бросил солдату поводья великолепного коня, нетерпеливо бившего копытом о землю, и приказал ему позаботиться о лошадях. Войдя в большую залу гостиницы, он остановился и бросил вокруг довольный взгляд.

– Такой большой зал, – воскликнул он, – и ни души! Вот это хорошо!

Фурнишон смотрел на него с недоумением, а жена его многозначительно улыбалась гостю.

– Но, вероятно, есть же какая-нибудь причина, – продолжал капитан, – что у вас никого не бывает? Может, вы сами, ваше поведение виноваты или гостиница ваша плоха?

– О нет! – запротестовала госпожа Фурнишон. – Благодарение Богу, ничего подобного нет. А просто это новый квартал, и к тому же мы пускаем к себе народ с разбором.

– В самом деле? Это мудро, – одобрил капитан.

Господин Фурнишон, энергично кивая головой, подтвердил слова жены.

– Например, ради такого посетителя, как ваша милость, – продолжала она, подмигнув так выразительно, как мог только автор проекта «Розового куста любви», – не жаль отказать и двенадцати постояльцам.

– Вы очень любезны, благодарю вас.

– Не угодно ли вам попробовать нашего вина? – Фурнишон постарался по возможности смягчить свой грубый голос.

– Не желаете ли осмотреть помещения? – сладко пропела хозяйка.

– Угодно, желаю, если можно, – согласился капитан.

Фурнишон спустился в погреб, а жена его, приподняв кокетливо юбки, повела гостя по лестнице вверх, постукивая изящными туфельками, достойными украшать ножку парижанки.

– Сколько вы можете разместить здесь человек? – спросил капитан, когда они поднялись на второй этаж.

– Тридцать, в том числе десять господ.

– Этого недостаточно, очаровательная хозяйка, – разочаровал ее капитан.

– Почему же, сударь?

– Был у меня один проект... впрочем, не стоит и говорить.

– Ах, сударь, вам не найти гостиницы лучше «Розового куста любви»!

– Как – «Розового куста любви»?!

– То есть я хочу сказать – «Шпаги гордого рыцаря»... Разве что занять Лувр и принадлежащие к нему здания...

Незнакомец остановил на ней какой-то странный взгляд.

– Вы правы, – заметил он, – насчет Лувра... А пожалуй, – пробормотал он про себя, – оно было бы и удобнее и дешевле... Итак, – уже громко продолжал капитан, – вы говорите, что можете разместить человек тридцать?

– Конечно, можем.

– А если на один день?

– На один день – от сорока до сорока пяти.

– До сорока пяти... Черт возьми! Как раз нужное мне число!

– Неужели? Подумайте, как удачно!

– А это не возбудит шума, огласки, не соберет толпу? Среди ваших соседей нет соглядатаев?

– У нас и по воскресеньям иногда собирается до восьмидесяти солдат... А что касается соседей, то их у нас только двое: один почтенный господин, он ни в чьи дела не вмешивается, и затем дама: живет так уединенно, что за три недели, как сюда переехала, я ее еще ни разу не видела. Остальные соседи – простолюдины.

– Все это мне очень подходит... А потому – запомните: ровно через месяц, считая от сегодняшнего дня...

– То есть двадцать шестого октября?

– Именно двадцать шестого октября я снимаю всю вашу гостиницу.

– Всю?..

– Всю. Хочу устроить приятную неожиданность нескольким землякам – военным: они собираются искать счастья в Париже. За это время они получают извещение и остановятся у вас.

– Как же так, если вы хотите им сделать приятную неожиданность? – не удержалась от неосторожного вопроса госпожа Фурнишон.

– Ага! – Капитан не скрыл, что недоволен вопросом. – Если вы любопытны, болтливы...

– Нет, нет, боже упаси! – Перепуганная госпожа Фурнишон уже поняла свою ошибку. Фурнишон слышал этот разговор, и при слове «военные» сердце его радостно забилося.

– Милостивый государь! – воскликнул он, вбегая вверх. – Вы будете здесь хозяином, владыкой всего дома и не услышите никаких вопросов! Все ваши друзья – желанные гости.

– Я сказал не «друзья», – надменно заметил офицер, – а «земляки».

– Да, да, земляки вашей милости, это я оговорился.

Госпожа Фурнишон отвернулась с досадой: «Розовые кусты любви» разом превратились в частокол из алебард.

– Вы им дадите поужинать и в случае надобности устроите их на ночлег, если я не успею подготовить им другое помещение. Словом, отдадите себя в их полное распоряжение, без всяких расспросов. Вот тридцать ливров задатка.

– Дело кончено, монсеньор. Ваши земляки встретят королевский прием, и если вам самим угодно убедиться, попробовав нашего вина...

– Я ничего не пью, благодарю вас. – Капитан подошел к окну и приказал подвести себе лошадь.

– Монсеньор, – обратился к нему Фурнишон, о чем-то поразмыслив (получив три пистоля, с таким великодушием уплаченные офицером вперед, Фурнишон величал незнакомца монсеньором), – монсеньор! Как же я узнаю этих господ?

– Правда, черт возьми! Я и забыл... Дайте мне огня, сургучу и лист бумаги...

Госпожа Фурнишон принесла требуемое, и капитан сделал на жидком сургуче оттиск своим перстнем.

– Видите вы это изображение? – спросил он хозяина.

– Красивая женщина, клянусь честью!

– Это голова Клеопатры. Каждый из моих земляков должен предъявить вам такой отпечаток, и вы дадите предъявителю приют на столько времени, на сколько я прикажу.

– Мы будем ожидать ваших приказаний.

Капитан сошел с лестницы, вскочил на лошадь и усакал. В ожидании его вторичного посещения супруги Фурнишон припрятали тридцать ливров. Особенно был доволен хозяин.

– Военные! – твердил он. – Нет, положительно вывеска неплоха, и если нам суждено разбогатеть, то мы достигнем этого не иначе как при помощи шпаги.

И он принялся начищать свои кастрюли к долгожданному двадцать шестому октября.

VIII

Силуэты гасконцев

Утверждать, что госпожа Фурнишон может хранить тайну так строго, как требовал незнакомец, было бы большой смелостью. К тому же она, по-видимому, считала себя освобожденной от всяких обязательств по отношению к нему – ведь он оказал предпочтение мужу с его «Шпагой гордого рыцаря». Но так как при всем том ей еще о многом приходилось самой догадываться и сказано ей было, собственно, очень мало, то, желая построить свои предположения на прочном основании, она начала с того, что стала доискиваться, кто бы мог быть этот неизвестный офицер, так щедро оплачивавший содержание своих земляков. С этой целью она спросила у первого же проходившего мимо солдата, как зовут офицера, проводившего учение. Но солдат оказался не так нескромен и болтлив, как его собеседница, и, прежде чем ответить, осведомился, зачем ей это нужно знать.

– Он только что с нами беседовал и уехал, а всегда приятно знать, с кем разговариваешь. Солдат засмеялся.

– Офицер, производивший смотр, не пошел бы в гостиницу «Шпага гордого рыцаря».

– Это почему? Разве уж он такая важная персона?

– Пожалуй, и так!

– Ну а если я вам скажу, что он заходил в гостиницу не для себя?

– Так для кого же?

– Для своих друзей.

– Офицер, производивший сегодняшний смотр, никогда не разместит своих друзей в гостинице «Шпага гордого рыцаря» – за это я вам ручаюсь.

– Ну, с вами не поговоришь, милый человек! Что же, этот офицер – такой высокопоставленный господин, что не захочет устроить своих друзей в лучшей гостинице Парижа?!

– Тот, про кого вы спрашиваете, не кто иной, как герцог Ногаре де Лавалетт д'Эпернон, пэр Франции, командующий пехотными войсками короля и, пожалуй, более король, чем его величество Генрих Третий. Ну, что вы на это скажете?

– Скажу, что если это он был у нас, то оказал мне большую честь.

Из всего этого читатель может судить, с каким нетерпением ожидалось двадцать шестое октября. Вечером двадцать пятого в гостиницу вошел человек и положил на прилавок довольно увесистый мешок с деньгами, сказав при этом:

– Вот плата за заказанный на завтра ужин.

– По сколько на человека? – осведомились в один голос муж и жена.

– По шесть ливров.

– А вам не известно, нашел ли капитан помещение для своих земляков?

– Должно быть, нашел. – И, несмотря на настойчивые расспросы хозяев «Розового куста» и «Шпаги», посланный ушел, соблаговолив ответить только это.

Наконец наступил для кухни «Шпаги гордого рыцаря» долгожданный день. На колокольне монастыря августинцев пробило половину первого, когда несколько верховых остановились у гостиницы, слезли с лошадей и вошли. Они прибыли через ворота Бюсси и, естественно, оказались первыми: и потому, что были верхом, и потому, что гостиница находилась от ворот Бюсси не более чем в ста шагах.

Один из прибывших казался главным над остальными как по своей представительной внешности, так и по той роскоши, которую мог себе позволить в лице двух сопровождавших его слуг. Каждый предъявлял при входе известный нам оттиск и был встречен супругами в высшей степени любезно, особенно молодой человек с двумя слугами. Тем не менее, за исключением последнего, все прибывшие посетители занимали места с какой-то робостью

и даже беспокойством: видно, что-то серьезное их заботило, и озабоченность эта усиливалась, когда они машинально протягивали руку к карману. Одни сразу направились отдыхать, другие пожелали до ужина прогуляться по городу, а молодой человек с двумя слугами осведомился, нет ли чего новенького и интересного в Париже.

– Если вы не боитесь давки и вас не страшит мысль, что придется простоять часа четыре на ногах, – ответила госпожа Фурнишон, – то пойдите посмотреть на казнь господина де Сальседа, испанца, осужденного за участие в заговоре.

– Ах да! Я что-то слышал про это дело... Конечно, пойду. – И тотчас же ушел в сопровождении обоих слуг.

К двум часам приехали группами по четыре-пять человек еще двенадцать посетителей. Некоторые пришли поодиночке, а один – словно по-соседски: без шляпы, с тросточкой в руке. Он немилосердно бранил Париж, где, по его словам, воры так дерзки, что среди белого дня около Гревской площади стащили у него с головы шляпу, и так ловко, что он их и не заметил. Впрочем, он сам виноват: нечего приезжать в Париж в шляпе, украшенной таким драгоценным аграфом²².

Часам к четырем в гостинице Фурнишонов расположились уже сорок земляков капитана.

– Что за странность? – обратился хозяин к жене. – Они все гасконцы!

– Что же тут удивительного? Ведь капитан и говорил, что приедут его земляки. Раз он сам гасконец – то и они гасконцы.

– Да, это правда.

– Разве ты забыл, что господин д'Эпернон родом из Тулузы?

– Да, да. А ты все стоишь на том, что это был господин д'Эпернон?

– Да ведь у него таки сорвалось его знаменитое «парфандиу»²³.

– У него сорвалось... знаменитое «парфандиу»?! Это еще что за зверь?

– Глупый! Это его любимая клятва.

– А, вот оно что!

– Удивляться надо одному – что у нас сорок гасконцев, а должно-то быть сорок пять.

Но к пяти часам прибыли и остальные, и, таким образом, все сотрапезники оказались налицо. Никогда еще, казалось, лица гасконцев не расплывались в такой радостной улыбке приятного удивления. Целый час только и слышны были местные гасконские клятвы и раздавались такие шумные, радостные возгласы, что Фурнишонам почудилось – весь Пуату, Ониси, Лангедок дружным натиском вторглись в большой зал «Шпаги гордого рыцаря».

Многие были между собой знакомы: так, например, уже известный нам Эсташ Миранду подошел к гасконцу с двумя слугами, обнялся с ним и представил ему Лардиль, Милитора и Сципиона.

– Какими судьбами ты в Париже? – спросил его тот.

– А ты сам, дорогой Сент-Малин?

– Я получил должность в армии, а ты?

– Я приехал по делам наследства.

– И все еще таскаешь за собой эту старуху Лардиль?

– Что же делать? Она во что бы то ни стало хотела ехать со мной.

– Не мог ты разве уехать тайком, чтоб не сажать себе на шею всю ватагу, что тащится за ней следом?

– Невозможно было: она сама распечатала письмо прокурора.

– Значит, ты был извещен о наследстве письмом?

²² Аграф – нарядная пряжка или застежка.

²³ *Parfandious, mordieux, cap de Bioux* – излюбленная гасконцами непереводаемая божба.

Мираду подтвердил это и поспешил переменить разговор:

– Не странно ли, что в этой гостинице так много посетителей и все они исключительно наши земляки?

– Вовсе не странно: одна вывеска способна привлечь благородных людей, – вмешался в разговор наш старый знакомый, Пердукас де Пенкорне.

– Ах, это вы, дорожный товарищ? – узнал его Сент-Малин... – А вы мне так и не объяснили до конца то, что начали рассказывать на Гревской площади, когда нас разлучила толпа.

– А что я начал вам рассказывать? – Пенкорне слегка покраснел.

– Каким образом случилось, что я вас встретил дорогой, между Ангулемом и Анжером, в точно таком же виде: пешком, без шляпы и с тросточкой в руках?

– А это вас очень занимает?

– Еще бы! От Пуатье до Парижа далеко, а вы пришли из еще более дальних мест.

– Я пришел из Сент-Андре де Кюбсак.

– Вот видите. И в таком виде, без шляпы?

– Это все очень просто.

– Ну нет, не нахожу.

– Сейчас поймете. У отца моего есть пара лошадей, которой он так дорожит, что способен лишить меня наследства после случившегося со мной несчастья.

– Какое же с вами случилось несчастье?

– Я объезжал одну из них, самую лучшую, как вдруг в десяти шагах от меня раздался выстрел. Лошадь моя испугалась и понесла по направлению к реке.

– И бросилась в нее?

– Да.

– Вместе с вами?

– Нет, к счастью, я успел спрыгнуть на землю, а то утонул бы вместе с ней.

– Ах, бедное животное, значит, утонуло?

– Разумеется! Вы ведь знаете Дордонь – она шириной более полумили.

– И что же было дальше?

– Я решил не возвращаться домой, а уйти как можно дальше от родительского гнева.

– Ну а шляпа-то?

– Погодите же, черт возьми! Моя шляпа свалилась.

– Как и вы?

– Вовсе я не свалился, а спрыгнул на землю. В роду Пенкорне никто еще не падал с лошади: мы все хорошие наездники с пеленок.

– Да, это известно. Так что же шляпа-то?

– Шляпа-то?

– Ну да, шляпа.

– Шляпа моя свалилась, и я пошел ее разыскивать. Денег со мной вовсе не было, и она была моим единственным ресурсом.

– Каким же это образом? Не понимаю! – настаивал Сент-Малин, решив посмотреть, до чего дойдет Пенкорне в своих объяснениях.

– А вот каким. Надо вам сказать, что перо на этой шляпе было прикреплено бриллиантовым аграфом, пожалованным моему деду императором Карлом Пятым²⁴, когда он, проездом из Испании во Фландрию, останавливался в нашем замке.

²⁴ *Карл V* (1500–1558) – король Испании (с 1516 г.) и германский император (с 1519 г.). В течение всего своего правления вел многочисленные и довольно успешные войны с Францией, с переменным успехом воевал с турками. Поставил себе задачу объединить под своим скипетром весь христианский мир. Но после крупных успехов протестантов в 1552 г. оказался надломленным морально и в 1556 г., отказавшись от короны, поселился в монастыре.

– И вы продали аграф и с ним вместе шляпу? В таком случае, любезный друг, вы богаче всех нас, и вам следовало бы на эти деньги купить себе вторую перчатку, а то у вас одна рука белая, как у женщины, а другая – черная, как у негра.

– Подождите... В ту самую минуту, как я обернулся, разыскивая свою шляпу, на нее вихрем спустился огромный ворон.

– На шляпу?

– Вернее, на бриллиант. Вы знаете, что эта птица любит таскать разные блестящие предметы. Так вот, он схватил бриллиант и унес его!

– Ваш бриллиант?

– Да, милостивый государь, мой бриллиант. Сначала я следил за ним глазами, потом побежал и стал кричать: «Держите! Держите вора!» Как бы не так – через пять минут его и след простыл, только я его и видел.

– Так что, под гнетом этой двойной утраты...

– ...Я не дерзнул вернуться в родительский дом и решил идти искать счастья в Париж.

– Вот как! – вступил новый собеседник. – Ветер обратился в ворону? Мне сдается, вы при мне рассказывали господину Луаньяку, как, пока вы читали письмо вашей любовницы, ветер унес и письмо и шляпу и вы, как истый Амадис²⁵, бежали за письмом, бросив шляпу на произвол судьбы.

– Сударь, – заключил Сент-Малин, – я имею честь быть хорошо знакомым с господином д'Обинье²⁶, храбрым офицером, который довольно сносно владеет и пером. Расскажите ему при встрече историю вашей шляпы, и он напишет преинтересный рассказец на эту тему.

В зале послышался сдержанный смех.

– Что это, господа?! Уж не надо мной ли здесь смеются? – воскликнул обидчивый гасконец.

Все отворачивались, чтобы не дать воли откровенному смеху. Пердукас бросил вокруг испытующий взор: молодой человек у камина закрыл лицо руками. Разумеется, он потешается над ним! Пердукас направился к наглецу.

– Сударь, если уж вы смеетесь – смейтесь открыто, не прячьте лицо! – Он сильно ударил молодого человека по плечу.

Тот поднял голову и сурово взглянул на Пердукаса. То был наш старый знакомый, Эрнотон де Карменж, чувствовавший себя все еще несколько ошеломленным после своего приключения на Гревской площади.

– Прошу вас оставить меня в покое, милостивый государь, – ответил он. – Если вам еще раз вздумается до меня дотронуться, то, по крайней мере, трогайте рукой в перчатке. Вы видите, я вами вовсе не занимаюсь.

– Вот и прекрасно, – проворчал Пенкорне. – Раз не занимаетесь, я ничего не имею сказать.

– Ах, милостивый государь, не очень-то вы любезны с нашим земляком, – попенял Карменжу Эташ де Мираду, одушевленный самыми примирительными намерениями.

– А вы, черт возьми, вмешиваетесь не в свое дело, милостивый государь! – Эрнотон все более раздражался.

– Совершенно верно, – согласился Мираду с поклоном, – это вовсе меня не касается.

²⁵ Герой средневекового рыцарского романа; олицетворение рыцарской доблести.

²⁶ Д'Обинье Теодор Агриппа (1551–1630) – французский поэт, воин, гуманист. Будучи протестантом, он с шестнадцати лет вступил в армию гугенотов и на протяжении двадцати пяти лет сражался на стороне Генриха IV, участвуя практически во всех битвах и походах. После принятия Генрихом IV католицизма в 1593 г. оставил военную службу. Воин, поэт, памфлетист, историк, богослов, ученый, дипломат, военный инженер, д'Обинье явился одним из последних титанов Возрождения.

Он уже повернулся, собираясь присоединиться к Лардиль, сидевшей у большого камина, как вдруг кто-то заступил ему дорогу. То был Милитор, с язвительной улыбкой на устах и руками за поясом, по своему обыкновению.

– Послушайте-ка, милый отчим, – обратился к нему этот шалопай.

– Что такое?

– А что вы скажете? Ловко отделал вас этот господин!

– А ты и заметил? – Эсташ попытался обойти его, но Милитор помешал – подвинулся влево и снова очутился перед ним.

– Не только я, все заметили! – не унимался он. – Смотрите – все смеются.

Кое-кто и правда смеялся, но вовсе не по этой причине.

Эсташ покраснел, как рак.

– Ну же, не давайте этому делу заглохнуть! – подначивал Милитор.

Эсташ послушался и налетел, как разъяренный петух, на Карменжа:

– Милостивый государь, меня уверяют, что вы имели намерение сделать мне лично неприятность и оскорбить меня!

– Когда?

– Несколько минут назад.

– Оскорбить вас?

– Меня.

– А кто же вас в этом уверяет?

– Вот этот господин! – Эсташ указал на Милитора.

– В таком случае этот господин, – Карменж сделал ироническое ударение на слове «господин», – просто глупый скворец.

– О! О! – только и воскликнул взбешенный Милитор.

– И я ему советую не долбить меня своим клювом, или мне придется вспомнить совет господина Луаньяка.

– Господин Луаньяк не говорил, что я скворец.

– Да, но он назвал вас ослом. Если это вам больше нравится – мне безразлично. Если вы осел – так я вас подтяну ремнями, а если скворец – ошпилю вам перышки.

– Милостивый государь, – вступился Эсташ, – это мой пасынок. Не обращайтесь бы вам с ним так, хотя бы из уважения ко мне.

– Так-то вы меня защищаете! – вскипел Милитор. – Хорошо же, я сумею защитить себя и сам!

– Детей в школу, в школу! – успокоил Эрнотон.

– «В школу»! – завопил Милитор, подступая к Карменжу с поднятыми кулаками. – Мне семнадцать лет, слышите ли вы, милостивый государь?

– А мне – двадцать пять, и сейчас я расправляюсь с вами по заслугам. – И, схватив за ворот и за пояс, он приподнял Милитора и выбросил, как какой-нибудь сверток, из окна нижнего этажа на улицу.

Лардиль кричала при этом так, что, казалось, рухнут стены дома.

– И знайте, – бесстрастно предупредил Эрнотон, – что я сотру в порошок отчимова, пасынков и прочих членов семьи, если мне еще будут надоедать.

– Клянусь честью, я нахожу, что этот господин прав, – поддержал его Мираду. – К чему было его раздражать?

– Трус, негодяй! Он позволяет бить своего сына! – Лардиль с криками потрясала распущенными волосами и наступала на Эсташа.

– Тише, тише, успокойся! Это послужит к исправлению его характера.

– Э, послушайте-ка! – произнес, входя в залу, офицер. – У вас тут выбрасывают за окно людей. Когда позволяют себе такие шутки, не мешает, черт возьми, по крайней мере, предварительно крикнуть прохожим: «Берегись!»

– Де Луаньяк! – воскликнули в один голос двадцать человек.

– Господин де Луаньяк! – повторили в один голос сорок пять гасконцев.

Произнося это имя, известное во всей Гаскони, все встали, и в зале воцарилась тишина.

IX

Господин де Луаньяк

За господином де Луаньяком вошел Милитор, слегка помятый от падения и багровый от злости.

– Здравствуйте, господа! – приветствовал всех Луаньяк. – Вы порядком таки шумите, кажется? А-а! Видимо, господин Милитор опять проявил свой милый нрав и его нос пострадал от этого.

– Мне за это еще поплатится кое-кто, – проворчал Милитор, показывая кулак Эрнотону.

– Подавайте ужин, Фурнишон! – крикнул Луаньяк. – А вас, господа, прошу быть по возможности мирными соседями друг для друга. С этой минуты вы должны любить друг друга, как братья.

– Гм! – пробормотал Сент-Малин.

– Любовь к ближнему вообще встречается весьма редко, – заметил Шалабр, закрывая салфеткой свой темно-серый камзол, чтобы спасти его от всяких неприятных случайностей, связанных с разными соусами.

– А любить друг друга при такой близости трудно, – прибавил Эрнотон. – Правда, мы будем вместе недолго.

– Посмотрите пожалуйста! – воскликнул Пенкорне. – Он еще не забыл насмешек Сент-Малина.

– Надо мной смеются потому, что я без шляпы, а никто ничего не говорит господину Монкрабо, который собирается ужинать в кирасе времен императора Пертинакса, – от него он и ведет свое происхождение, вероятно.

Задетый за живое, Монкрабо гордо выпрямился.

– Господа, – голос его звучал фальцетом, – я ее снимаю... Пусть это примут к сведению те, кто предпочитает, чтобы я действовал наступательно, а не оборонительно. – С этими словами он подозвал своего толстого седовласого лакея и стал величественно расшнуровывать кирасу.

– Ну что ж, господа, – спокойно предложил Луаньяк, – сядем за стол.

– Избавьте меня от нее, пожалуйста. – Пертинакс передал лакею свои доспехи.

– А я? – шепнул ему тот. – Разве я не буду есть? Прикажи мне что-нибудь подать, Пертинакс, я умираю с голоду!

Это фамильярное обращение несколько не удивило обладателя кирасы.

– Сделаю все, что возможно, – прошипел он. – Но для большей уверенности поразведайте об этом сами.

– Ну, уж это вовсе не утешительно! – сердито отозвался лакей.

– Разве у вас больше ничего не осталось? – спросил Пертинакс.

– Сам знаешь, мы проели наше последнее эку в Сансе.

– Черт возьми! Придумайте, что бы такое обратить в деньги?

Не успел он договорить, как с улицы донесся громкий крик:

– Вот торговец старым железом! Старое железо продавать!

Услыхав этот крик, госпожа Фурнишон бросилась к выходу, а супруг ее в это время торжественно ставил на стол первое блюдо ужина. Судя по восторженному приему, кухня хозяина была превосходной.

Фурнишон, как человек справедливый, не имея возможности отвечать на сыпавшиеся на него комплименты и желая, чтобы жена разделила с ним лавры, поискал ее глазами, но тщетно: она скрылась.

– Где же она? – спросил он одного поваренка, видя, что жена не является на его зов.

– На улице, – объяснил тот, – делает выгодный обмен: меняет ваше старое железо на новые деньги.

– Надеюсь, она не вздумает продавать мое оружие и кирасу? – воскликнул Фурнишон, бросаясь к дверям.

– Э нет, – успокоил его Луаньяк, – ведь покупка оружия запрещена указом короля.

– Все равно! – пробормотал Фурнишон и побежал к двери.

В эту минуту и вошла его жена с торжествующим выражением лица.

– Что случилось? Что с вами? Почему переполох? – обратилась она к мужу.

– Мне сказали, что вы продаете мое оружие.

– Ну так что же из этого?

– А то, что я не хочу, чтобы вы его продавали!

– Перестаньте, пожалуйста! На что оно вам? В мирное время две новые кастрюли куда полезнее старой кирасы.

– Однако торговля старым железом не должна быть выгодной со времени того королевского указа, о котором говорил господин де Луаньяк, – напомнил Шалабр.

– Напротив, – отвечала ему госпожа Фурнишон, – этот торговец давно уже соблазнял меня своими выгодными предложениями. Ну а сегодня я не устояла: случай представился, и я им воспользовалась. Десять экю – это деньги, сударь, а старая кираса, как ни верти, останется старой кирасой!

– Как! Неужели десять экю? – воскликнул Шалабр. – Так дорого! Однако, черт возьми! – И он призадумался. – Десять экю, – повторил Пертинакс, кидая красноречивый взгляд на своего лакея. – Слышите, господин Самуил?

Но господина Самуила уже не было.

– Однако, – заметил Луаньяк, – этот торговец рискует попасть на виселицу!

– О! Это такой славный, кроткий и сговорчивый человек, – вставила госпожа Фурнишон.

– И что же он делает с этим железом?

– Перепродает на вес.

– На вес? – переспросил Луаньяк. – И вы говорите, что он дал вам десять экю? За что?

– За старую кирасу и каску.

– Но если предположить, что они весят двадцать фунтов, то он вам, значит, заплатил по пол-экю за фунт? Парфандиу, как говорит один мой знакомый, тут кроется какая-то тайна!

– Вот если бы мне залучить в свой замок этого славного торговца! – воскликнул Шалабр, и глаза его заблестели. – Я бы ему продал целую гору разного оружия!

– Как! Вы продали бы оружие ваших предков! – насмешливо воскликнул Сент-Малин.

– Напрасно, – подтвердил Эсташ Мираду. – Это неприкосновенная святыня, драгоценные реликвии.

– Э! В настоящее время мои предки сами представляют собой реликвии и нуждаются в одних только молитвах.

За столом между тем становилось все более шумно благодаря отличному бургундскому, которым гасконцы усердно заливали обильно сдобренные пряностями блюда. Голоса возвышались, тарелки гремели, головы туманились винными парами, заставлявшими все видеть в розовом свете всех, за исключением Милитора, занятого мыслью о своем падении, и Эрнотона, поглощенного думами о своем паже.

– Посмотрите, как они все веселы, – обратился Луаньяк к своему соседу Эрнотону. – И сами не знают с чего.

– Я также не знаю, – ответил ему Карменж. – Правда, что до меня, то я составляю исключение: я вовсе не в веселом настроении.

– Напрасно, милостивый государь... Вы именно из числа тех молодых людей, для которых Париж – золотое дно, источник почестей и целый мир наслаждений.

– Не смейтесь надо мной, господин Луаньяк, – покачал головой Эрнотон. – Так как, по-видимому, вы держите в руках нити, управляющие движениями большинства из нас, то окажите мне милость: не смотрите на виконта Эрнотона де Карменжа как на куклу.

– Вы можете ожидать от меня не только этой милости, – Луаньяк любезно поклонился. – Я сразу отличил вас от прочих, с вашим гордым и вместе кротким взглядом, и еще вот того молодого человека, с таким мрачным и хитрым выражением глаз. Как его зовут?

– Господин де Сент-Малин. А чем было вызвано это отличие, смею спросить, – если этот вопрос не покажется вам слишком навязчивым любопытством с моей стороны?

– Тем, что я вас знаю, вот и все. И не только вас, но и всех здесь находящихся.

– Это странно!

– Да, но необходимо.

– А почему же это необходимо?

– Потому, что начальник должен знать своих солдат.

– Значит, все эти господа...

– Будут завтра моими солдатами.

– А я думал, что господин д'Эпернон...

– Тише! Пожалуйста, не произносите здесь этого имени, а еще лучше – и никакого другого. Раскройте уши и закройте рот – вот вам мой совет, который можете считать задатком моего расположения.

Эрнотон поблагодарил.

– Господа! – Луаньяк встал за столом. – Случай свел здесь, в этих стенах, сорок пять земляков. Так осушим стакан испанского вина за здоровье и благоденствие всех присутствующих!

Это предложение вызвало бурные рукоплескания.

– Почти все пьяны, – шепнул Луаньяк Эрнотону. – Теперь удобная минута заставить каждого рассказать свою историю. Но для этого у нас мало времени. Эй, господин Фурнишон, – он возвысил голос, – попросите выйти отсюда женщин, детей и слуг!

Лардиль встала, что-то ворча про себя: она еще не кончила десерта. Милитор не шевельнулся.

– Эй, вы там, разве не слышали моих слов? – Луаньяк бросил на него не допускавший возражений взгляд. – Марш на кухню, господин Милитор!

Через несколько минут в зале остались только Луаньяк и сорок пять гасконцев.

– Господа! – начал он. – Все вы знаете или, по крайней мере, догадываетесь, кто вас вызвал в Париж. Хорошо, хорошо, не надо кричать его имени. Вы знаете, и этого довольно. Кроме того, вы, конечно, знаете и то, что явились сюда, чтобы повиноваться его приказаниям.

По залу пронесся легкий гул, означавший подтверждение последних слов Луаньяка, но так как каждый знал исключительно то, что касалось его самого, и находился в полном неведении о том, что и другие приехали в Париж, подчиняясь власти того же лица, то все гасконцы удивленно переглянулись.

– Нечего разглядывать друг друга, господа, – продолжал Луаньяк. – Будьте спокойны, у вас на это еще будет время. Итак, вы признаете, что явились сюда с целью во всем повиноваться этому человеку?

– Признаем! – закричали все в один голос.

– В таком случае вы начнете с того, что без шума покинете эту гостиницу и отправитесь в назначенное для вас помещение.

– Для нас всех? – удивился Сент-Малин.

– Для всех.

– Конечно, для всех. Нас всех вызвали, мы все здесь равны, – пробормотал Пердучас, который так был нетверд на ногах, что ему пришлось охватить Шалабра за шею, чтобы сохранить равновесие.

– Осторожнее, вы мне помнете камзол, – недовольно проворчал тот.

– Да, – продолжал Луаньяк, – все мы равны перед волей господина.

– О-о! – Эрнотон весь вспыхнул. – Мне не было сказано, что господин д'Эпернон будет именоваться моим господином.

– Да погодите, горячая вы голова! Не кипятитесь.

Все замолчали: одни из любопытства, другие от нетерпения.

– Я ведь еще не сказал вам, кто будет вашим господином.

– Да, – заметил Сент-Малин, – но вы сказали, что у нас будет таковой.

– Он есть у всех нас! – воскликнул Луаньяк. – Но если ваша гордость мешает вам останавливаться на том, о ком мы сейчас говорили, то ищите выше... Я вам не только не воспреещаю, но даю мое полное на то одобрение.

– Король!.. – прошептал Карменж.

– Молчите! – остановил его Луаньяк. – Вы здесь для того, чтобы повиноваться, – так повинуйтесь... А пока потрудитесь прочесть нам вслух этот приказ, господин Эрнотон.

Эрнотон развернул поданный ему пергамент и прочел следующее:

– «Приказываю господину Луаньяку привести и принять начальство над сорока пятью дворянами, вызванными мною в Париж с одобрения его величества.

Ногаре де Лавалетт, герцог д'Эпернон».

Все без исключения почтительно склонились, выслушав этот приказ, а затем выпрямились, что оказалось уже потруднее для тех, кто был сильно навеселе.

– Итак, вы слышали, – подвел итог господин де Луаньяк. – Вы должны сейчас же следовать за мной. Лошади ваши и люди останутся у господина Фурнишона, на его попечении, пока я не пришлю за ними. Теперь же прошу вас не медлить: лодки ждут вас.

– Лодки? – повторяли заинтригованные гасконцы. – Разве мы поедем по воде?

– Конечно. Чтобы попасть в Лувр, надо переплыть реку.

– В Лувр! – шептали они, польщенные. – Черт возьми! Мы? В Лувр?!

Луаньяк встал из-за стола, пропустил вперед всех до одного гасконцев, пересчитав их, словно баранов – сорок пять, – и повел к Нельской башне. Там ждали три большие лодки, которые, забрав по пятнадцати человек каждая, тотчас отчалили от берега.

– Что мы будем делать в Лувре? – спрашивали друг друга те, кто похрабрее, быстро протрезвившись на холодной реке и зябко вздрагивая в легком платье.

– Была бы на мне хоть моя кираса! – пробормотал, ежась, Пертинакс де Монкрабо.

X Скупщик Кирас

Пертинакс имел полное основание жалеть об отсутствии знаменитой кирасы: в это самое время он через посредство своего странного лакея расставался с ней навсегда.

Действительно, как только слуха этого лакея коснулись магические слова «десять экю», произнесенные госпожой Фурнишон, он бросился со всех ног догонять продавца. Но наступила уже ночь, и торговец, вероятно, торопился – он успел отойти шагов на тридцать, и господину Самуилу пришлось его окликнуть. Торговец боязливо остановился и устремил испытующий взгляд на подходившего к нему человека, но, увидев в руках у него какую-то вещь, он успокоился и стал поджидать.

– Что вам нужно, любезный? – спросил он.

– Что мне нужно? – Вид у лакея был хитрый. – Да вот с вами одно дело обделать.

– Так давайте поскорее...

– А вы торопитесь? Дайте хоть передохнуть.

– Только быстро, меня ждут. – Очевидно, торговец сохранял долю недоверия к неизвестному ему лицу.

– Когда вы увидите, что я вам принес, то перестанете торопиться, коли вы действительно знаток в этих делах.

– Что же это такое?

– Чудная вещь, редкой работы, такая... Но вы, кажется, не слушаете меня?

– Нет, я смотрю.

– Куда?

– Вы разве не знаете, что торговля оружием запрещена указом короля? – Торговец бросал вокруг тревожные взгляды.

Лакей нашел более выгодным прикинуться, что ничего такого не знает:

– Откуда? Я только сегодня приехал из провинции.

– Это дело другое. – Торговец несколько успокоился. – Но хоть вы и приехали из провинции, а известно же вам, что я скупаю старое оружие?

– Да, известно.

– А кто вам это сказал?

– А зачем и говорить – вы ведь сами кричали, и довольно громко.

– Где это?

– Да вот тут, под окнами гостиницы «Шпага гордого рыцаря».

– Вы там были?

– Был.

– С кем?

– С целой компанией приятелей.

– С компанией приятелей? Обыкновенно в этой гостинице никого не бывает. И откуда же явились эти ваши приятели?

– Из Гаскони, как и я.

– Вы, значит, подданные короля наваррского²⁷?

– Ну вот еще! Мы все французы, черт возьми! И кровные!

– Так, верно, гугеноты?

²⁷ *Король наваррский* – Генрих IV (1553–1610), король наваррский с 1572 г., король Франции с 1593 г. Будучи гугенотом, принимал участие в религиозных и гражданских войнах на стороне протестантов. Ему приписывается фраза «Париж стоит мессы». Основатель династии Бурбонов. 14 мая 1610 г. был убит Равальяком.

– Католики, благодарение Богу, как и сам святейший отец наш Папа! – отвечал Самуил, снимая шапку. – Но не в этом дело, поговорим лучше о кирасе.

– Пойдемте вот к этой стене: мы здесь слишком на виду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.